

В. М. Алпатов

Жизнь лингвиста

В.М. Алпатов

Жизнь лингвиста

Воспоминания

Чебоксары
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
2023

УДК 81(092)
ББК 81д
А51

A51 **Жизнь лингвиста:** воспоминания / В. М. Алпатов. –
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2023. – 216 с.

ISBN 978-5-6049492-0-7

Данное издание включает в себя воспоминания языковеда Владимира Михайловича Алпатова (р. 1945), академика Российской академии наук. Рассказывается о его студенческих годах в МГУ, о его многолетней работе в академическом Институте востоковедения. Также говорится о судьбах его родных и близких, о друзьях и сослуживцах.

ISBN 978-5-6049492-0-7
DOI 10.21661/a-857

© Алпатов В.М., 2023
© ЦНС «Интерактив плюс», оформление, 2023

Оглавление

| | |
|--|-----|
| Предисловие | 4 |
| Глава 1. История моей семьи..... | 5 |
| Глава 2. О студенческих годах | 52 |
| Глава 3. 44 года в Институте востоковедения..... | 93 |
| Глава 4. О Кате | 165 |
| Глава 5. Сергей Анатольевич Старостин..... | 188 |
| Глава 6. О Барулине..... | 200 |
| Глава 7. Чем объяснить? | 212 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данные записки не являются систематическим жизнеописанием. Я не рассматриваю поэтапно своё детство, кое-какие попутные экскурсии имеются в разных очерках. Не пишу и о ближайшем к сегодняшнему дню времени после перехода из Института востоковедения в Институт языкознания в 2012 г.: этот этап моей жизни (вероятно, последний) ещё не закончен. Я сосредоточился, во-первых, на двух других, важнейших для меня этапах: студенческих годах (1963–1968) и многолетней работе в Институте востоковедения (1968–2012). Во-вторых, пишу о близких мне людях: дедушках, бабушках и их братьях и сёстрах, родителях, жене. Также включил в издание очерки, посвящённые двум моим друзьям и сослуживцам: Сергею Анатольевичу Старостину и Александру Николаевичу Барулину; первый из них был учёным мирового уровня, второй, на мой взгляд, большего достиг как организатор лингвистического образования. Завершаю публикацию несколько странным рассказом о непонятных событиях моей жизни.

Некоторые из тех, о ком я пишу, также оставили воспоминания. Опубликованы мемуары одной из сестёр моей бабушки Галины Дмитриевны Типковой и моей жены Екатерины Александровны Стеценко. Мой отец Михаил Антонович Алпатов работал в смежном жанре автобиографической повести; некоторые из его сочинений близки к мемуарам («Возвращение в юность»), другие сильно беллетризованы, но сохраняют автобиографичность («Вадимка»). Библиографические ссылки на эти тексты даю по ходу дела.

Часть разделов данной публикации ранее издавалась (ссылки также даю по ходу дела): раздел о студенческих годах, очерк о С.А. Старостине, очерки, посвящённые моим родителям. Раздел о А.Н. Барулине находится в печати. Все эти разделы при подготовке к данному изданию в той или иной степени подверглись переработке. Другие разделы печатаются впервые.

Алпатов Владимир Михайлович, языковед, академик РАН

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Наиболее многочисленной в нашей семье стала вятская линия.

Отец моей бабушки по матери Дмитрий Николаевич Абрамов происходил из крестьян Кирилловского уезда Новгородской губернии (теперь это Вологодская область), с теми местами его связь была вскоре оборвана, и ничего о них я не знаю. Дмитрий Николаевич перешёл в мещанское сословие и всю жизнь до смерти в 1904 г. служил в отделениях Волжско-Камского банка в разных поволжских городах (Нижний Новгород, Самара), с 1880-х гг. – управляющий отделением банка в Вятке, где с тех пор жила семья. Женат он был на Зиновии Николаевне, урождённой Днепровской, с которой познакомился в Нижнем Новгороде. Она была дочерью офицера, выслужившегося из солдат-кантонистов.

В семье было десять детей: три сына и семь дочерей. Из них трое умерли в детстве: сын Аполлон (между Галиной и Зинаидой) в восемь лет умер от скарлатины, были также дочери Антонина (примерно ровесница Аполлона) и Мария. Выросло семеро: пять дочерей (Елизавета, Галина, Зинаида, Марианна и Евгения) и два сына (Николай и Дмитрий). Из них я знал всех дочерей, кроме рано погибшей Евгении, а Николая, который при мне ещё был жив, никогда не видел.

Семья директора банка, достаточно состоятельная, была «переводная», не только сыновья, но и дочери стремились получить образование и профессию, составляла исключение только моя бабушка Марианна Дмитриевна, окончившая лишь гимназию и никогда не работавшая.

В те годы в России появилась новая профессия: преподаватель современного иностранного языка (раньше этому предмету обычно обучали каким-либо образом попавшие в Россию природные носители языков без специального образования). Теперь впервые начали готовить дипломированных русских преподавателей, и сразу сюда пошли девушки; в гимназии, где учился мой отец, тоже современные языки в отличие от других предметов, уже преподавала женщина. Две старшие сестры решились отправиться прямо в Сорбонну, где получили диплом преподавателя французского языка. В детстве я часто слышал рассказы Галины Дмитриевны о Париже, где она была в компаниях русских эмигрантов. Она дружила с революционе-

ром Сергеевым, вошедшим в историю как Артём, а в одном из шапочных знакомых впоследствии опознала Ленина и даже опубликовала об этой встрече воспоминания. Вернувшись в Россию, сёстры учили недолго, вскоре выйдя замуж. И замужество определило их судьбу. Галина вышла за небогатого офицера и жила с ним в военных гарнизонах, а Елизавета стала женой Ивана Ивановича Бушкова, богатого промышленника из старообрядцев. Он считался миллионером, имел автомобиль с шофёром и большое имение в Турке Вятской губернии. Детей у обеих не было.

После революции всё переменилось. Бушковы бежали через Сибирь в Китай, потеряв состояние. Жили недолго в Харбине, затем много лет в Шанхае. Иван Иванович был плохо приспособлен к эмигрантской жизни, на жизнь зарабатывала Елизавета Дмитриевна, имевшая в Шанхае салон красоты (в русскоязычной шанхайской газете мне сотрудник Института востоковедения показывал объявления салона мадам Бушковой). После войны она, овдовев к тому времени, решила в 1947 г. вернуться на родину. Она некоторое время жила в Москве у сестёр, я был совсем мал, но её помню. Тут её не прописали и предоставили выбор: инвалидный дом под Москвой или работа в провинции. Она выбрала работу и уехала в Нижний Тагил, где преподавала в школе французский язык. Там скоро умерла в 1949 г. от повторного инфаркта.

А у Галины Дмитриевны после революции муж Владимир Петрович оказался на стороне красных, служил в штабе у Кирова во время обороны Астрахани. Вскоре после войны он заболел туберкулёзом, Галина Дмитриевна увезла его к родным в Кисловодск, где он умер в 1923 г. Галина Дмитриевна осталась в Кисловодске, теперь уже вернувшись к работе учительницы, но не французского, а русского языка. В начале 30-х гг. переехала в карачаевский аул Старо-Абуковский (ныне часть города Учкекен), куда привезла мать. Туда же добрался из Вятки и Пётр Павлович Клобуков, бывший муж её сестры Зинаиды, они с Галиной Дмитриевной жили в гражданском браке. В ауле был военный конный завод, поставлявший кавалерийских лошадей, а при нём сельскохозяйственный техникум. Пётр Павлович работал на конном заводе бухгалтером, а Галина Дмитриевна в техникуме преподавала русский язык и литературу, просвещала карачаевцев. Мать Зиновия Николаевна умерла

перед войной. Галина Дмитриевна и Пётр Павлович пережили оккупацию, сохранилась грамота с благодарностью за то, что Галина Дмитриевна с риском для жизни спасла портреты Ленина и Сталина и «Краткий курс». Петра Павловича в 1942 г. сбила немецкая машина, после этого он болел и умер в 1944 г. Галина Дмитриевна после войны переехала в Москву и несколько лет жила у нас, она научила меня читать. В апреле 1950 г., узнав о том, что ей грозит слепота, не желая быть родным в тягость, Галина Дмитриевна уехала в дом инвалидов под Москвой (сначала Филимонки, а с 1954 г. Фенино). Там, почти потеряв зрение, жила ещё долго, пережила всех братьев и сестёр и умерла в Фенине в 1970 г. Взгляды её на моей памяти всегда были очень советскими. Помню, как в конце 50-х гг. она утверждала, что будто бы СССР некоторое время имел преимущество в ядерном оружии и мог бы победить Америку, но шанс не использовал. Откуда она это взяла? Однако под конец жизни она параллельно стала ходить в церковь, а после её смерти неверующие племянницы, мои мама и тётя, заказали в её память сорокоуст, зная, что она того хотела. Посмертно опубликованы её воспоминания: журнал «Первое сентября», 2012, декабрь; 2013, январь и февраль.

Никогда при мне не ходила в церковь Зинаида Дмитриевна, тоже активная и самостоятельная женщина, но имевшая иные интересы. В 1907 г., восемнадцати лет, в один день с Галиной, бывшей шестью годами старше, она вышла замуж. Её мужем был уже упоминавшийся Пётр Павлович Клобуков, тогда ещё не бухгалтер, а владелец большого магазина готового платья в Вятке. В 22 года у неё уже было четверо детей: три дочери и младший сын. Тем не менее, она, уже после этого, решилась поехать в Москву к знаменитой А.С. Голубкиной учиться скульптуре. Училась у неё несколько лет, в это же время Голубкина сделала её скульптурный портрет. Основала на деньги мужа первую в Вятке художественную школу. Одна из дочерей Алевтина умерла в семь лет в 1916 г. от скарлатины. В годы гражданской войны оставила мужа, уйдя к офицеру (впоследствии военному инженеру) Анатолию Ивановичу Крутихину, на пять лет моложе её. С ним вскоре уехала с детьми в Москву, где обосновалась. В 1926 г. порвала с Анатолием Ивановичем, женившимся на её старшей дочери, после этого не выходила замуж. Работала как скульптор, наиболее значительные работы –

бюст Н.Е. Жуковского в Академии его имени, надгробный памятник наркому иностранных дел Г.В. Чичерину на Новодевичьем кладбище, несколько скульптур А.Н. Туполева.

С Туполевым и его женой Юлией Николаевной она была хорошо знакома. Осенью 1937 г. Зинаида Дмитриевна была арестована по доносу квартирных соседей, желавших отобрать её мастерскую. В связи со знакомством с Туполевыми была включена в одно дело с Юлией Николаевной, благодаря этому ей повезло. Два года она находилась в сибирском лагере около города Мариинска (ныне Кемеровская область). В 1939 г. отбывавший срок А.Н. Туполев согласился возглавить конструкторское бюро, состоявшее из заключенных, лишь при условии, что всё будет в порядке с его женой. Вместе с Ю.Н. Туполовой реабилитировали всех, кто шёл по её групповому делу. Зинаиду Дмитриевну освободили из лагеря в конце декабря 1939 г., и в январе 1940 она вернулась в Москву. Во время войны была в эвакуации в Каракалпакии. Была членом Союза художников и заслуженным деятелем искусств Каракалпакской АССР. Работала как скульптор до начала 50-х гг., потом по состоянию здоровья прекратила занятия скульптурой. О лагере при мне Зинаида Дмитриевна рассказывала только один раз в конце 50-х годов, воспоминания были самые тяжёлые. Тем не менее, и она, как и её не пострадавшая сестра, была, безусловно, на стороне советской власти и в отличие от сестры оставалась убеждённой атеисткой. Умерла после нескольких инфарктов в Москве в 1968 г.

Мало я знаю о Николае Дмитриевиче. Юрист по образованию, по единодушному мнению родственников, он в отличие от сестёр работать не любил, моя тётя сохранила в памяти его любимые присказки: «Эта работа не для белого человека» и «Лучше сидеть, чем стоять; лучше лежать, чем сидеть». Был человеком авантюрного склада, любил путешествовать. По окончании образования ездил по разным странам, о его жизни за границей семья знала очень мало. Известно, что долго жил в Сербии, где, по слухам, имел семью. После начала мировой войны связь с родными прервалась более чем на десять лет, родственники его считали умершим. Однако в середине 20-х гг. он неожиданно появился у матери и сестёр в Кисловодске; с тех пор до конца жизни жил на Северном Кавказе. Вскоре женился и сильно бедствовал в разных местах, об одном из периодов их существования его жена рассказывала: «Когда мы с

Коленькой босяковали в Баталпашинске» (ныне Черкесск). Во время войны жена умерла, в 1945 г. женился вторично на жительнице районного центра Александровское Ставропольского края, её звали Александра Павловна. Вскоре полностью ослеп. Во второй половине 50-х гг. жена увезла его в город Дагестанские огни в Дагестане, где жил её сын от первого брака. Там он умер в 1965 г. В советские годы он не был в Москве, и я его никогда не видел.

Судьба младших сестры и брата оказалась наиболее печальной.

Евгения Дмитриевна в семье считалась самой красивой. Училась на юридическом факультете Высших женских курсов, но, будучи патриотически настроена, решила вместе с подругой Алевтиной Дружининой (сестра историка Н.М. Дружинина, впоследствии академика) пойти в армию. Они в двадцать лет попали в женский «батальон смерти», охранявший в 1917 г. Зимний дворец и сильно пострадавший в дни Октября. Но ещё до того девушки бежали из батальона, убедившись в том, что он фактически был борделем для высокопоставленных лиц. Евгения уехала к сестре в Кисловодск, где вскоре вышла замуж за бывшего генерала Курилко. Брак оказался неудачным и скоро кончился разрывом, после чего в Кисловодске в годы гражданской войны Евгения Дмитриевна сильно бедствовала, потом с трудом уехала в Москву (или в Петроград?). Там она познакомилась с Ф.В. Костяевым, также бывшим генералом, в это время (первая половина 20-х гг.) занимавшим высокие должности в Красной Армии. И сейчас о нём можно прочесть в Интернете. Он был старше её почти на двадцать лет, ради неё оставил семью, и они поженились, жили в Ленинграде. Брак был счастливым, но недолгим: 27 сентября 1925 г. Костяев внезапно умер от заражения крови. Евгения Дмитриевна так и не оправилась от этого удара, а последней каплей стал процесс о разделе имущества с прежней женой мужа. В начале 1926 г. она повесилась в Москве на квартире Алевтины Дружининой.

Дмитрий Дмитриевич родился в Вятке, когда матери было под пятьдесят. Последний и, видимо, самый любимый ребёнок. К началу гражданской войны он ещё кончал гимназию. Потом он перевёз мать из Вятки в Кисловодск. Там жил несколько лет, но затем решил вернуться в Вятку, где в 20-е гг. оставался единственным из сестёр и братьев. Выбрал себе профессию художника и учился в школе, основанной сестрой. В сентябре 1925 г. он поехал из Вятки

в Ленинград на похороны Ф.В. Костяева; в дороге в мягком вагоне заразился сыпным тифом, к тому времени почти исчезнувшим. Вернувшись в Вятку, заболел и умер в возрасте 25 лет. Жениться не успел.

Наконец, моя бабушка Марианна Дмитриевна, четвёртая из пяти ставших взрослыми сестёр. По сравнению с другими её биография была менее богата событиями. Родилась в Вятке 22 сентября (старого стиля) 1890 г. Кончала гимназию у сестры Галины в Царицыне. Там она познакомилась с Владимиром Амвросьевичем Мыльцыным, сыном царицынского лесопромышленника, выпускником юридического факультета Московского университета (о нём и его семье я подробнее расскажу дальше). Они поженились в 1911 г., в следующем году родилась дочь Ирина. Марианна Дмитриевна, имея гимназическое образование и не стремясь работать, увлекалась домашним музицированием, хорошо пела (разучивала партию Кармен) и играла на пианино. Сравнивая бабушку с теми двумя её сёстрами, которых я хорошо знал, не могу сказать, что она была менее культурна. Помимо музыки, она много читала. Однако Марианна Дмитриевна, не стремясь к социальной и профессиональной активности, при этом не особенно любила и домашние дела. После свадьбы семья сначала жила в Царицыне, а в 1916 г. Владимир Амвросьевич купил у генерала Киреева дом и большой участок земли возле станции Минутка под Кисловодском, где было заведено хозяйство: породистые лошади, коровы, куры. В 1918 г. там родилась вторая дочь (моя мать). Во время гражданской войны хозяйство пропало, а в 1920-е гг. семья переехала в меньший дом в самом Кисловодске. Там жили за счёт сдачи комнат на лето интеллигентным курортникам, среди постояльцев были В.И. Качалов, В.В. Вересаев, Ю.Н. Тынянов, академик П.Н. Сакулин. Оба дома после Вятки стали центром семьи, со времени гражданской войны там жила мать, в разное время там находили приют сёстры Галина и Евгения, братья Николай и Дмитрий. В годы НЭПа она была признанной в Кисловодске светской дамой, имела успехи в этом, дедушка был вынужден терпеть.

В 1929–1930 гг. в Кисловодске преследовали домовладельцев, сначала Мыльцыны лишились дома, в 1930 г. начались аресты. Муж и старшая дочь уехали из города, а Марианну Дмитриевну ле-

том 1930 г. знакомый предупредил о том, что она в списках и в следующую ночь должна быть арестована. В тот же день она уехала в Москву к сестре Зинаиде, оставив в Кисловодске ещё на год младшую дочь. В Москве, где вскоре собралась вся семья, никого из неё не преследовали: легко было затеряться. Уже было не до светской жизни, всё поглощал быт. Все её родственники говорили о том, как она потухла в Москве по сравнению с Кисловодском, это видел и я, сравнивая фотографии. Жили сначала у сестры, в 1936 г. Владимир Амвросьевич выхлопотал квартиру. Во время войны Марианна Дмитриевна с семьёй (кроме мужа, остававшегося в Москве) эвакуировалась в Бугуруслан Чкаловской (ныне Оренбургской) области, в 1944 г. вернулась. В отличие от Галины и Зинаиды она возненавидела советскую власть, уже на моей памяти любила ругать «папашку» Сталина. Тогда по радио часто передавали сочинения композитора Будашкина, незадолго до этого получившего Сталинскую премию. Бабушка не выносила «плебейскую» фамилию и музыку в русском народном духе, и шипела: «Будашкин-папашкин», на что в квартире никто не обращал внимания. В послевоенные годы бабушка долго болела сразу несколькими болезнями и умерла от рака в Москве 8 марта 1955 г. Муж пережил её на пятнадцать лет.

Если не считать сербских детей Николая Дмитриевича, о которых достоверно ничего не известно, дети были лишь у Зинаиды и Марианны. Линия Марианны кончается на мне (Ирина Владимировна не была замужем), а потомков Зинаиды ещё много. У дочери Уирко (Юры) был сын Александр, у дочери Ирины Петровны сын Андрей, обоих уже нет в живых, у Александра детей не было, а у Андрея дочь Настя. У сына Павла дочери Элеонора и Зинаида, у Зинаиды две дочери, у каждой дети, а теперь есть и внуки.

Мой дед Владимир Амвросьевич Мыльцын (13 (25) июля 1884, Царицын, тогда Саратовской губернии – 16 сентября 1970, Москва) родился в семье крупного волжского лесопромышленника. Отец вышел «из простых», был чуть ли не бурлаком, потом разбогател и занимался заготовкой и обработкой леса по всей Волге. Жила семья в Царицыне. Были четыре сына (ещё мальчик и единственная девочка умерли в младенчестве). Судьба дедушкиных братьев оказалась поразному грустной. Одного уронила нянька, он вырос горбатым и

больным и рано умер. Дело отца унаследовал старший сын Александр, вполне преуспевавший до 1917 г., а уже год спустя бежавший от новой власти к брату в Кисловодск, где вскоре скорострительно умер в 40 лет за карточной игрой. Ещё был брат Сергей, с юности страдавший из-за венерической болезни и, судя по глухим намёкам моей тётки Ирины Владимировны, умерший в ЧК. Если это так, то это единственная жертва репрессий в семье (Зинаиду Дмитриевну позже арестовали, но она вытянула счастливый билет). В результате к 1921 г. от братьев Мыльцыных остался лишь дедушка Владимир Амвросьевич (далее В.А.) с семьёй, а теперь последний в роду – я.

Владимира, младшего из четырёх братьев, решили учить. После гимназии в Царицыне он учился на юридическом факультете Московского университета, который окончил в 1910 г. После этого он числился помощником присяжного поверенного, но юридическая карьера его не увлекла. В 1911 г. он женился на Марианне Абрамовой. В 1912 г. родилась дочь Ирина, а в 1918 г. дочь Зинаида.

Перед революцией В.А. купил имение генерала Киреева в Минутке, пригороде Кисловодска. Хозяйствовать ему было по-настоящему интересно, он купил породистых коров, лошадей, кур и целиком ушёл в эту деятельность. После революции имение ещё некоторое время сохранялось, но гражданская война всё постепенно разрушила. С его жеребцами бежал из Кисловодска известный белогвардеец Шкуро, а на другой лошади ускакал красный командир Оксман. Я однажды в детстве спросил деда: «Ты видел Шкуро, что ж ты его не убил?». Последовал ответ: «Ну и не было бы у тебя тогда дедушки». От хозяйства в итоге осталась одна корова, которая спасала семью в голодные годы. Была однажды неприятная история: знакомый оставил на хранение чемоданы, содержание которых деду не было известно. Там оказалась коллекция старинного оружия, за которое его поставили к стенке на глазах семьи и имитировали расстрел, но потом отпустили.

После окончания гражданской войны семья переехала в сам город Кисловодск, приобретя этаж двухэтажного дома на Тургеневской улице. В.А. пас корову на Красных камнях в курортном парке, а кормились тем, что сдавали комнаты приезжим. У него жили известные люди, особенно В.А. подружился с академиком П.Н. Сакулиным. Марианна Дмитриевна в годы НЭПа была известной в городе светской дамой, дочери учились в школе, а на В.А. держалось хозяйство.

К 1930 году в Кисловодске стали прижимать домовладельцев. Сначала отобрали дом, и семья переселилась в другое место с худшими условиями, потом начались угрозы ареста, Марианна Дмитриевна едва спаслась. В.А. на некоторое время поехал в Царицын, тогда уже Сталинград, где ещё жила его мать, потом тоже переехал в Москву, где в 1931 г. собралась вся семья. В большом городе удалось затеряться, и репрессии Мыльцыных не затронули ни тогда, ни позже.

Семью приютила сестра Марианны Дмитриевны Зинаида, жившая в большой коммунальной квартире в Выползовом переулке, где имела мастерскую (дом снесли в конце 1970-х, теперь на его месте дворец «Олимпийский»). Семья занимала одну проходную комнату. Но жили, по рассказам его дочерей, весело. В.А. не решился вернуться к юриспруденции, и в 1931–1941 гг. работал то счетоводом, то экономистом в разных учреждениях; сохранился его послужной список. Старался «не высовываться» и в итоге был рад тому, что таким образом сохранил семью. Его свояченица Зинаида Дмитриевна, принимавшая советскую власть (от которой затем и пострадала), полагала, что Владимир Амвросьевич эту власть не признавал и не хотел на неё работать. Но, по-моему, дело было именно в стремлении не высовываться в сочетании с неудачным выбором профессии: фермерство было для него самым подходящим занятием, но оно стало невозможным. А ругать власть в отличие от жены он избегал.

Главные усилия В.А. в это время были связаны с жилищной проблемой. Он вступил в ЖАКТ (жилищное товарищество) и несколько лет по вечерам фактически имел второй рабочий день, ведя бесплатно в ЖАКТе счетоводство за обещание квартиры. В первый раз его обманули и квартиру не дали, что оказалось в итоге к лучшему: ещё при его жизни в 60-е гг. дом в Девятинском переулке пошёл под расширение территории американского посольства. Сохранились многочисленные бюрократические документы на получение жилплощади. Но в итоге в ноябре 1936 г. семья Мыльцыных получила отдельную квартиру в новом доме 30 на Конюшковской улице (дом стоит и сейчас, и я числюсь владельцем квартиры). Дом построили с недоделками: хронически протекала крыша, а наша квартира была на верхнем этаже (на той же площадке поселили и архитектора с семьёй, получилось, что в наказание). Переписка

насчёт очистки и ремонта крыши продолжалась несколько десятилетий, её вела и Ирина после смерти отца (уже тогда потолок однажды рухнул), всё это отражено в документах. Но, главное, была квартира, а к тому времени упразднили ЖАКТ, и надо было платить лишь обычную квартплату (квитанции сохранились). Там Владимир Амвросьевич прожил оставшуюся жизнь, а я жил с рождения до семи лет. Дом не был элитным, вопреки современным представлениям об отдельных квартирах в то время: жили рабочие, служащие, рядовые интеллигенты и лишь один член-корреспондент Академии медицинских наук (получил звание, уже живя в доме). Благодаря этому в 1937–1938 гг. там не арестовали никого. Одновременно построенный соседний дом был более привилегированным (оттуда С. Леваневский уезжал в полёт, из которого не вернулся), и там арестовали С.П. Королёва.

Моя мать Зинаида (названная в честь тётки) прожила в доме лишь два месяца и вышла замуж, но в 1940 г. развелась и вернулась на Конюшковскую. Когда началась война, семья вскоре уехала в эвакуацию в Бугуруслан, но В.А. уезжать отказался и всю войну был в Москве. Это, пожалуй, был самый активный период за всю его деятельность. Его сделали комендантом бомбоубежища, находившегося в том же доме. В конце войны его наградили медалью «За оборону Москвы», которой он очень гордился. Он также работал в домоуправлении. Сохранились разные документы периода войны, в том числе о выполнении им функций понятого при аресте в одном из соседних домов (не Королёва). На моей памяти он был очень законопослушен. В дни, когда передавали бюллетени о болезни Сталина, он повторял: «Как там наш Сталин? Наверное, мучается». А за год до этого однажды утром дедушка запретил мне бегать и прыгать в квартире, поскольку по радио передали страшную новость: «Умер наш друг Чойбалсан» (правивший Монголией). Однако потом он уже хвалил «Никишу» Хрущёва, а про Сталина говорил, что он убил свою жену Аллилуеву, а потом имел любовницей родственницу Л.М. Кагановича. Вряд ли он это придумал, среди его знакомых, вероятно, ходили и такие слухи. Патриотом он, несомненно, был искренним, что проявилось в годы войны.

К 1944 г. семья вернулась в Москву на Конюшковскую, Зинаида с новым мужем Михаилом Антоновичем Алпатовым, с которым познакомилась в эвакуации. В апреле 1945 г. родился внук В.А., то

есть я. После войны в квартире несколько лет жила сестра Марианны Дмитриевны Галина Дмитриевна, к тому времени овдовевшая, которая потом сама переехала в дом престарелых. В 1952 г. Зинаида с семьёй получила квартиру, в которой я сейчас пишу воспоминания, и уехала с Конюшковской. Марианна Дмитриевна последние годы жизни болела и умерла в марте 1955 г. В квартире ещё долго оставались В.А. с Ириной.

В 1945 г., когда кончилась война, В.А. оставил работу в домоуправлении и больше не работал, но пенсию не получал, так как не хватало стажа: в Кисловодске он нигде не числился и трудовую книжку оформил лишь в Москве. Дочери прилично зарабатывали, и решили не хлопотать. С этого времени В.А. исключительно был занят домашними делами (он и раньше вёл большую часть хозяйства, так как Марианна Дмитриевна была к этому мало приспособлена). Он постоянно ходил на ближайший Тишинский рынок. Регулярные походы туда были своего рода ритуалом: туда ехал на трамвае, а обратно пешком. Ходил также в магазины, сначала предпочитая «генеральский» магазин на Садово-Кудринской, а с 1955 г. – вновь открытый «Гастроном» в высотном доме на площади Восстания (оба магазина уже не существуют). По возвращении домой обязательно садился и записывал все покупки в книгу расходов, эти книги сохранились. Также варил летом варенье, иногда делал ремонт в квартире. Помню, как обсуждал со мной, за неимением других собеседников, вопрос о том, чем красить пол на кухне: охрой или суриком. Много занимался воспитанием внука, а летом постоянно жил с ним (со мной) на даче: мои родители много работали и приезжали лишь на воскресенье. Любил мне читать нравоучения о том, что главный порок – лень и что нельзя быть эгоистом. Мы с ним много, особенно в мои школьные годы, ходили по Москве. Другим развлечением были посещения Предтеченской церкви в Малом Предтеченском переулке. Траты там он зашифровывал в тетради под рубрикой «Мой расход». В церковь он ходил один: больше верующих в семье не было; меня он, разумеется, окрестил вместе с нерелигиозной бабушкой. Когда сняли Хрущёва, дедушка уже ругал его за снос церкви на Преображенской площади в Москве.

В.А. любил лечиться, особенно от склероза, но больше домашними средствами, и лечить других. Настольная книга – «Пчёлы – крылатые фармацевты». Дочери считали, что он неправильно вы-

брал профессию, и ему надо было быть врачом. Но В.А. был здоровым человеком и всерьёз почти до самого конца не болел. Много ходил пешком, часто ездил за город к родственникам в Крюково и к свояченице в дом престарелых, а когда ему было уже больше 80 лет, я трижды возил его по Волге. В Царицыне-Сталинграде, где всё разрушила война, он всё же нашёл один из принадлежавших семье домов, который когда-то сдавался солдатам на постой, и церковь при уничтоженном кладбище, где были похоронены его родители. В августе 1970 г. после третьей Волги он почти сразу внезапно заболел (уремия на почве аденомы) и умер через месяц, ему было 86 лет.

О своей матери Зинаиде Владимировне Удальцовой (как и об отце) я уже писал в опубликованной книге «Языковеды. Востоковеды. Историки». Мне придётся где-то повторяться, но здесь в отличие от книги я не буду много писать об их профессиональной деятельности, а расскажу в основном о бытовой стороне жизни.

До 13 лет мама жила в Кисловодске. Среда общения в основном состояла из интеллигентов старой формации, ещё сохранявших старорежимные привычки, но в той или иной степени привыкших к новым правилам жизни. В эту среду входили, помимо постоянных жителей, и курортники, среди которых было немало известных людей, особенно деятелей искусства. В семье приучали к чтению. Но, конечно, среди одноклассников преобладали дети иного культурного уровня. Как-то учитель литературы стал выяснять, кто из детей что читает. Мальчишки в основном рассказывали про Ната Пинкертона, девочки про Чарскую, а Зина уже читала «Собор Парижской богородицы». Этим она всю жизнь гордилась.

В 1930 г. семья лишилась дома, и её часть покинула Кисловодск, опасаясь возможных неприятностей. Остались, кроме Зины, старая бабушка и занятая педагогической деятельностью Галина Дмитриевна. Девочке пришлось жить самостоятельно в съёмной комнате и вести домашние дела в течение года, конечно, под наблюдением взрослых. Уже тогда ей пришлось привыкать к самостоятельности. Только летом следующего года, когда родители и сестра обустроились в столице, она переехала в Москву, где жила последующую жизнь, исключая два года эвакуации в дни войны.

Тётка Зинаида Дмитриевна имела комнаты и мастерскую в огромной коммунальной квартире в Выползовом переулке. А младшая Зина вместе с родителями, сестрой и домработницей Зинаиды Дмитриевны умещалась в проходной комнате. Как уже выше говорилось, отец все силы бросил на добывание нормальной жилплощади, которое заняло пять лет, но увенчалось успехом. У дочерей были иные интересы, хотелось найти место в жизни.

Разница почти в шесть лет между ними сказалась на их судьбах. Старшая сестра ещё столкнулась с политикой сортировки граждан в зависимости от «социального происхождения». Дети рабочих и крестьян могли свободно поступать в вуз, а интеллигенты должны были, как тогда говорили, «вывариться в рабочем котле» и приобрести пролетарскую психологию, заработав производственный стаж (девушки, впрочем, могли быть не только работницами, но и секретаршами или библиотекарями). Моя тётя прошла через всё это, и среди её и отчасти маминих товарищей преобладали зарабатывавшие стаж (с одним из них, Николаем Хотяинцевым, постоянно жившим в Киеве, дружба сохранилась и после Выползова переулка; впоследствии через его семью я познакомился с будущей женой). Сейчас иногда считают и даже пишут, что дети интеллигенции вообще тогда не могли получить высшее образование, чего всё-таки не было: большинство из компании, в конце концов, его получили, а моя тётя окончила Московский педагогический институт по русской литературе и стала кандидатом наук и доцентом факультета журналистики МГУ. Впрочем, один из друзей успел спиться. У тёти страх поселился на долгие годы, с чем и я сталкивался.

Вот такая история уже из начала 70-х гг. Выше я упоминал мужа Зинаиды Дмитриевны, а затем Галины Дмитриевны Петра Павловича Клобукова. Однажды мы с тётей были в гостях у одной из дочерей Зинаиды Дмитриевны и Петра Павловича; так получилось, что она, выйдя замуж, сохранила фамилию Клобукова. Я стал рассказывать, что в тогда недавно изданном романе о Гражданской войне упоминается большой магазин Клобукова в Вятке. Фразу я не смог закончить: не успел я назвать фамилию владельца магазина, как тётя зажала мне рот. Оказывается, дочь владельца сдавала другую комнату квартиры студенткам, которые в этот момент были за стеной и теоретически могли меня услышать. Могло ли молодым девушкам во времена «застоя» быть интересно, чем занимался до 1917 г. давно покойный отец их квартирной хозяйки? Но страх всё ещё жил.

Мамы эти пертурбации не коснулись: она окончила школу в 1935 г., когда ограничения по социальному происхождению при поступлении в вуз уже были отменены (их потом в несколько другом виде неудачно пытался возродить Хрущёв, о чём я скажу, рассказывая о себе). Может быть, это различие сказалось потом на характере сестёр: моя мать была гораздо смелее и активнее и имела меньше страха.

Она вместе с двумя подругами решила поступать на исторический факультет МГУ. Но одна из подруг отпала: у неё от несчастного случая погиб отец, и мать уговорила её поступать туда, где надёжнее; в результате она работала всю жизнь рядовым инженером на заводе. А две другие: Мыльцына и Кругликова – поступили на факультет. Тогда он был только что восстановлен, в 1935 г. был второй набор. После революции решили особо выделить гуманитарное образование, где с самого начала господствовал бы марксизм, оставив в отягощённом традициями Московском университете лишь естественные науки. Вместо гуманитарных факультетов университета был организован специальный институт МИФЛИ, куда тремя годами раньше матери поступил мой отец. Но в 1934 г. появилось коллективное письмо Сталина, Кирова и Жданова о необходимости изучать и преподавать историю, и исторический факультет МГУ возродился (тогда как филологического факультета по-прежнему не было до 1941 г.).

Первым деканом факультета стал Цви (Григорий Самойлович) Фридлянд, видный историк-марксист, занимавшийся Французской революцией. Мать его ещё застала, но вскоре он погиб всего лишь из-за одной неудачной фразы. 1 мая 1936 г. в компании «своих людей» на факультете он, глядя в окно на Первомайскую демонстрацию, вдруг сказал: «Эх, если сюда бомбу бросить, сколько бы человек погибло!». Зачем он это сказал, осталось неизвестным, но уже на следующую ночь его навсегда изъяли (его сын, известный как Феликс Светов, стал впоследствии диссидентом). Второй декан П.О. Горин, до того президент Белорусской академии наук, погиб тоже, потом таких прецедентов уже не было. Погиб очень яркий профессор-античник П.Ф. Преображенский, работавший и в МИФЛИ. В большинстве, однако, преподавательский состав факультета сохранился. Среди студентов пострадали также немногие,

но комсомольские собрания имели характер «охоты на ведьм». Однокурсника прорабатывали и исключили из университета за то, что кто-то донёс, будто он в конце 20-х гг., ещё школьником, сказал: «Кто будет бороться с троцкизмом, получит бублик» (арестован он не был и погиб на войне). У ближайшей подруги Ирины Кругликовой взяли родителей (отец был ответственным работником Наркомата торговли); отец погиб, а мать после войны вернулась; с самой Ириной, однако, ничего не произошло, она окончила университет и стала археологом, дожив до 2008 года. И у самой Зины арест тётки. Несмотря на всё это, в студенческие годы мать не только не разочаровалась в коммунистических идеалах, но, наоборот, стала активной общественницей, хотя до университета даже не состояла в комсомоле. Большую роль в этом сыграло её замужество.

На факультете она считалась одной из первых красавиц, была окружена поклонниками, имела хорошую фигуру. Те, кто её знали уже не столь молодой, не могли бы поверить в последнее. А ведь она всерьёз в школьные годы занималась балетом, и над ней шефствовал известный балетмейстер К.Я. Голейзовский, с которым она и потом дружила. Фотографии, снятые в юности, подтверждают, что всё так было. Однако резкое прекращение тренировок, потеря формы в годы войны, а затем моё рождение навсегда испортили фигуру. Но на втором курсе до этого ещё было далеко, студентка пользовалась успехом и могла выбирать. Она среди однокурсников предпочла Иву (Ивана) Удальцова, студента способного, но, как мама потом говорила, слишком легкомысленного. 1 января 1937 г. состоялась свадьба. Новобрачная, только-только переехавшая на Конюшковскую улицу, отправилась на улицу Усачёва в элитный дом.

Новая семья резко отличалась от старой. Хотя родители мужа также происходили из привилегированной среды (отец Иван Дмитриевич из дворян, мать Маргарита Мануиловна – дочь священника), но биографии и традиции были совершенно иными. В Москве до сих пор одна из улиц называется улицей Удальцова в честь Ивана Дмитриевича. Ещё в 1905 г. он был секретарём московского комитета партии большевиков. Его брат, историк Александр Дмитриевич, тоже был коммунистом. У того были научные работы, а Иван Дмитриевич, хотя тоже работал по научной линии, больше занимался здесь организацией и писать не любил. В конце 20-х гг. он недолго был ректором МГУ, а в 1938–1940, уже во время

замужества моей матери, – деканом исторического факультета там же (одновременно он был и деканом экономического факультета). При этом и он, и его жена, занимавшаяся скульптурой, были яркими, интересными людьми, Иван Дмитриевич любил быть галантным кавалером и ухаживать за дамами. Но его коммунистические взгляды оказали на невестку существенное влияние.

Уровень жизни и круг знакомств были совершенно иными по сравнению с Выползовым переулком. Три лета 1938, 1939 и 1940 гг., Удальцовы, включая Зину и её сестру, отдыхали в Теберде, где одновременно бывали С.С. Прокофьев, Л.Д. Ландау, математик И.М. Виноградов и многие другие известные люди. Но на улице Усачёва пришлось пережить 1937–1938 гг. Два предшественника Ивана Дмитриевича на посту декана были расстреляны, а большой партийный стаж в это время мог быть лишь минусом. К дому по ночам подъезжали машины, Иван Дмитриевич на глазах у невестки жёг бумаги. Но обошлось, в семье никто не пострадал.

Разрушило молодую семью не это, а то, что мать называла легкомыслием: Ива изменял. Осенью 1940 г. Зинаида вернулась на Конюшковскую, хотя фамилию Удальцова она сохранила. В дальнейшей их биографии были совпадения: оба побывали директорами академических институтов, в которых изучали историю (Иван Иванович – Института славяноведения), но бывший муж делал карьеру и за пределами науки: был заместителем заведующего Идеологической комиссией ЦК, послом в Греции. Со старшими Удальцовыми мать поддерживала отношения до конца их жизни; они жили недалеко от нас и с Маргаритой Мануиловной в 50-е гг. и в начале 60-х гг. мы иногда гуляли в ближайшем парке. Она очень жалела, что брак её сына не сложился: ей нравилась моя мать своей серьёзностью, а привезённая во время войны из провинции его новая не слишком образованная жена казалась свекрови очень простой (к этой линии рода принадлежит известный сейчас левый политик С. Удальцов). Но думаю, что этот брак всё равно трудно было бы сохранить: обе стороны стремились к лидерству.

Но, разумеется, студентка занималась не только личной жизнью. Прежде всего, она старательно училась. Ей важно было получать пятёрки, в дипломе четвёрок было лишь две, каждую из которых она долго переживала. У неё с самого начала была нацелен-

ность на исследовательскую работу, но надо было выбрать специальность и руководителя. Главный учитель был выбран сразу: это был Евгений Алексеевич Косминский, тогда заведовавший кафедрой истории средних веков, студентка занималась в его семинарах. А специализацию подсказал дядя её тогдашнего мужа А.Д. Удальцов. Он как-то сказал: «Перспективны сейчас те области истории, которые пока не освоены специалистами». Племяннику он посоветовал заняться историей славянских народов, а его жене – Византией. Правда, до революции в России Византией как раз занимались много, но здесь не было марксистов и византиноведение традиционно имело религиозно-православную окраску. В период борьбы за «новую науку» эта дисциплина оказалась в особенно тяжелом положении. Из прежних византинистов одни умерли, другие эмигрировали, третьи были арестованы, а новые кадры только начали появляться. И для старавшейся шагать в ногу со временем молодой исследовательницы это было заманчиво. Косминский сам занимался средневековой Англией, но поддержал свою ученицу и помогал ей.

В 1940 г. Удальцова окончила университет и была оставлена в аспирантуре у Косминского. Через год началась война. Вместе с матерью и сестрой они эвакуировались в Бугуруслан Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Там обе сестры преподавали в учительском институте, а затем и в эвакуированном в этот город Молдавском пединституте. Помимо общих тягот, младшей сестре пришлось бороться с появившимся в 1942 г. в Бугуруслане директором учительского института М.Ю. Юлдашевым. Этот деятель из Узбекистана, носивший орден и значок депутата Верховного совета СССР, с трудом писавший по-русски, положил на неё глаз и открыто заявил о своих притязаниях. Она ему отказала, и он решил в наказание отправить её на фронт. Дело дошло до медкомиссии, но не допустила её на войну немолодая опытная женщина, врач военкомата, сказав: «Девочка, нельзя тебе на фронт. С твоей красотой пойдёшь там по рукам!». Найдя какие-то болезни, врач отпустила её назад. С Юлдашевым потом как-то удалось установить отношения. А вновь они встретились в 1964 г. на всесоюзной сессии научного совета «Закономерности перехода от одной общественной формации к другой». Несмотря на малограмотность, Юлдашев к

тому времени стал доктором исторических наук и академиком Узбекской академии наук. Мать, проводившая сессию, отомстила былому обидчику и не посадила его в президиум, где полагалось сидеть академику, вызвав его гнев. Кстати, отмечу, что Юлдашев после Бугуруслана был директором пединститута в Саранске, где ему подчинился знаменитый мыслитель М.М. Бахтин, и, как отмечают бахтиноведы, он там из всех директоров отнёсся к Михаилу Михайловичу с наибольшим сочувствием и, как мог, помогал. Не всё бывает однозначно.

И спустя несколько месяцев другая встреча. В Бугуруслан приехал в командировку инструктор Чкаловского обкома Михаил Антонович Алпатов. Он тоже к началу войны был аспирантом Косминского, только в МИФЛИ. Встретить в небольшом городе аспиранта, имеющего того же научного руководителя – вероятность много ниже средней! До Бугуруслана они мельком встречались один раз. Но дело было не только в этом: они сразу понравились друг другу. У Удальцовой в Бугуруслане были увлечения, до сих пор у меня сохранились письма с фронта её трёх поклонников, один из них погиб. Двое выжили, но сердце уже было занято Михаилом Антоновичем, моим будущим отцом.

В 1943 г. Зинаида Владимировна вернулась в Москву, затем она помогла приехать и любимому человеку, с которым ещё не была расписана. Мать и сестра возвратились лишь через год, когда Зинаида уже жила на Конюшковской с новым мужем. В Москве она погрузилась во множество дел: не бросая аспирантуру и диссертацию, которую подготовила в срок, она начала преподавать в Высшей партийной школе, а затем и в МГУ и выполняла разные общественные функции. Она была секретарём приёмной комиссии первого набора МГИМО, а в конце лета 1944 г. поехала в составе агитбригады в только что освобождённую Молдавию. Там она узнала, что беременна.

К тому времени её путь уже был накатан. Она продолжала исполнять те же обязанности почти до моего рождения (декретные отпуска тогда были короткими). Вернувшись из родильного дома перед самым Днём Победы, она в июне уже принимала сессию в Высшей партийной школе, а в октябре успешно защитила в МГУ диссертацию, о её защите рассказывали в первом номере только начавшего выходить журнала «Советская женщина» (у меня –

столь раннее первое упоминание в печати). Затем по-прежнему работа с утра до вечера, только в первые месяцы приезжала на короткое время домой кормить. Домашние заботы не были её стихией, в моём раннем детстве главные нагрузки лежали на моём деде. Он сначала не принял неизвестно откуда появившегося зятя и когда тот пришёл в первый раз на Конюшковскую, не пустил его в квартиру; дочь с трудом отстояла его право поселиться. Однако всё изменило рождение внука, и никто обо мне так не заботился, как дедушка, к тому времени оставивший работу.

Дальше биография моей матери в основном сводилась к научной работе и научной карьере. До 1948 г. Высшая партийная школа, где она преподавала всеобщую историю. Потом она перешла на всю оставшуюся жизнь в систему Академии наук, где вскоре начала работать в Институте истории; поначалу в секторе истории средних веков, которым в первые послевоенные годы руководил Е.А. Косминский, к тому времени ставший академиком. Потом её учителя подсадила и заняла его место Н.А. Сидорова, жена академика-атомщика В.И. Векслера, бывшая лишь на несколько лет старше Зинаиды Владимировны. Две энергичные и далеко не старые женщины, естественно, не ладили друг с другом, но нашёлся выход: мать организовала отдельный сектор истории Византии, который номинально возглавил уже больной Косминский, а реально руководила она.

Мать постоянно пропадала на работе, а дома сидела за письменным столом, часто публикуясь и начав готовить докторскую диссертацию. Она умела писать легко и быстро, что не получалось у моего отца. Кроме института, она почти всё время преподавала на полставки на родном истфаке МГУ (исключая несколько лет, когда Хрущёв пытался уничтожить совместительство и вводил запреты, потом отменённые). Постоянно выполняла партийные поручения (вступила в партию в годы войны, рекомендацию в кандидаты в Бугуруслане ей давал будущий муж, а рекомендацию в члены партии уже в Москве – бывший свёкор). Мне запомнилось, как она в конце 1953 г. ездила по домоуправлениям читать лекции о роли личности в истории (борьба с «культом личности» на самом деле началась не в 1956 г., а ещё тогда). Некоторое время работала в Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где в основном разбирали жалобы о том, что такой-то «крупно-денежный человек» и

нанял писать диссертацию такого-то, только вернувшегося из заключения и не устроенного (шёл 1954 год).

В сфере быта главным событием был переезд в сентябре 1952 г. на новую квартиру на Новопесчаной улице, корпус 58 (потом адрес стал по 2 Песчаной, дом 4). Я только 1 сентября пошёл в первый класс в школу возле Конюшковской, но в октябре уже меня водили по новому адресу. У нас во дворе на Песчаной была школа, но тогда было раздельное обучение, и школа была женской, мужская школа находилась через дорогу, и меня одного не пускали. Перед нашими окнами был пустырь, а ближе к автобусной остановке высилась большая куча песка. Однако за лето 1954 г., пока я был на даче, на месте пустыря разбили роскошный бульвар, слава богу, и сейчас существующий.

На новую квартиру переехали родители и я. Дедушка с бабушкой и тётя остались на Конюшковской (Галина Дмитриевна уже жила в доме престарелых). Я с трудом привыкал к новому жилищу, и с субботы на воскресенье меня обязательно отвозили на Конюшковскую, прежде всего, к дедушке. А родители всё свободное от работы время занимались обставлением квартиры. Как раз перед этим матери заплатили за написанные ей главы по Византии и ещё нескольким темам для вузовского учебника истории средних веков. По тем временам платили весьма много за не столь большие тексты, на эти деньги и хорошую зарплату отца в энциклопедии купили очень многое, даже дорогое пианино: хотели учить меня музыке и впоследствии одно время действительно учили, но я уже давно не играю, а пианино стоит. Книжные шкафы были сделаны по специальному заказу для Логинова, помощника Маленкова, затем внезапно умершего, и потом оказались у нас. На полу был постелен огромный китайский ковёр. И мать, и отец прошли через годы бедности, а теперь хотелось компенсации. Моя жена писала в воспоминаниях, что запомнила с детства, как мои родители обсуждали на днепровском пляже с киевскими знакомыми, включая её родителей, «грандиозное событие» – покупки для новой квартиры. Она никогда не могла представить себе, что всё это останется ей, но она сохранила из всего лишь пианино, картины и настольные лампы.

Дедушка продолжал активно нам помогать, часто у нас бывал, но всё же мы уже не жили вместе, и пришлось нанять домработниц, которые жили у нас на кухне. Сначала они часто менялись, а

потом прижилась пожилая Дуняша, кое-как убиравшая и готовившая. Мой отец был рад, что она хоть и глупа, но по-крупному не ворует. Она всё делала плохо, но нам этого было достаточно. С 60-х гг. домработницы стали приходящими.

На работе шло продвижение вверх: старший научный сотрудник, фактическая, а затем и формальная после смерти Косминского заведующая сектором Византии, и после защиты диссертации «Италия и Византия в VI в.» в 1960 г. доктор наук. Её как молодого перспективного учёного выдвинули в депутаты Моссовета; она сначала этим увлеклась, но быстро разочаровалась. Всё решали аппаратчики, а депутаты ничего не могли. Мать два года пыталась выполнить наказ избирателей и открыть на территории её участка общественный туалет, но безуспешно. Она решительно отказалась переизбираться, хотя тогдашний руководитель Москвы Н.И. Егорычев уговаривал её остаться. Во время депутатства её включили в свиту Хрущёва на праздновании сорокалетия советской власти в Казахстане, и она несколько дней с интересом наблюдала лидера страны вблизи, убедившись в его грубости и некультурности.

В отличие от депутатства успешной стала её международная деятельность. Помогала её безупречная анкета, но она умела и себя подать, не только перед своими начальниками, но и перед иностранными учёными. Первая её поездка в Стамбул через пересадки в Праге и Париже (прямого авиасообщения тогда не было) состоялась ещё в 1955 г. (в этом же году она потеряла мать). Постепенно расширялись международные связи советской науки, и в ЦК решили возродить сотрудничество византинистов, имевшее традиции с дореволюционного времени. В то лето мы все были в селе на берегу Днепра, где мать разыскали и телеграммой вызвали в Москву, хотя до начала поездки оставалось больше месяца: поездка в капстрану тогда казалась чем-то чрезвычайным. Ещё шла холодная война, в гостиничный номер во время путешествия по Турции однажды ломились, и пришлось баррикадироваться. В Стамбуле всемирный конгресс византинистов открылся через несколько дней после погрома греков; в храме византийской постройки на полу лежали разбитые иконы, а настоятель был забинтован. Зато был вечер, когда гуляли по Парижу! Мать вернулась переполненная впечатлениями, а багаж не прибыл, его искали три недели по всей Европе, но всё же нашли.

На самом же конгрессе обстановка была мирной, никакой враждебности не было. Не имея до того контактов с иностранными учёными, мать была убеждена в превосходстве советской науки, вооружённой правильным методом. Но в Стамбуле она увидела интересных людей, много знающих и по ряду параметров более образованных, особенно по части языков и источников. Однако и Зинаида Владимировна стала для участников конгресса сюрпризом: вместо застёгнутых на все пуговицы русских они увидели приятную молодую женщину, способную по-французски прочесть доклад и вести светскую беседу. Её обижало лишь то, что её упорно называли «мадемуазель Удальцова»: среди исследователей Византии женщины тогда уже были, но в науку шли, как правило, старые девы. Зинаида Владимировна пыталась рассказать, что у неё есть муж и сын, но ей не верили, видя здесь пропаганду. Она жалела, что не захватила мою фотографию.

С тех пор она, не отказываясь от марксизма, с которым свыклась, признала, что существует мировая наука, а советская наука – её часть. Благодаря её стараниям, исследователей Византии в СССР появилось довольно много, среди них были и её ученики. Двое из них впоследствии стали академиками: Г.Г. Литаврин и много позже С.П. Карпов. На международные мероприятия постоянно приглашали советских представителей, занимавших там видное место. Часто ездила и сама мать. Отношение к поездкам за рубеж было различным даже среди моих родственников: и отец, и мамина сестра за всю жизнь не пересекли советскую границу ни разу, хотя секретной информацией не владели и оппозиционной деятельностью не занимались. Обычно это объясняют страхом, у моей тётки, видимо, так и было. А отец, может быть, тоже был ему как-то подвержен, но и вообще никуда не любил ездить. Мать же была в нескольких десятках стран, только в конгрессах византинистов участвовала восемь раз. Чаще всего она ездила на конгрессы и конференции, реже включалась в официальные делегации (в 1957 г. так побывала в Албании, куда ездили редко, и в составе делегации была принята Энвером Ходжей, чем несколько лет гордилась, но потом ситуация изменилась). В туристских поездках не было необходимости, но мать везде старалась посетить и достопримечательности. Однажды она в промежутке между двумя конференциями на несколько дней оказалась одна в Риме и в туристическом бюро на

все имевшиеся деньги купила с десятков экскурсий по городу и окрестностям и ездила с утра до вечера. «Правила поведения советских граждан за рубежом» не рекомендовали такое поведение, но она об этом не думала.

В путешествиях в ней просыпался азарт. Однажды, когда ей было за сорок, она вместе со мной поехала в Теберду по местам воспоминаний юности. С группой туристов она попыталась забраться на ледник Алибек, где была ещё студенткой, но возраст и силы были не те, и с ледника инструктору пришлось её стаскивать. Но всё равно инструктор был в восхищении. Азарт в таких поступках, в конце концов, её и погубил.

Шли годы. Многое менялось. В 1970 г. умерла последняя из её тёток Галина Дмитриевна, а вскоре не стало и отца. В 1976 г. я женился, первые годы мы с женой снимали квартиры, и мать искала способы расселения. В самом конце того же года Зинаиду Владимировну с пятого раза выбрали членом-корреспондентом Академии наук. После этого её включили в число тех, кто должен был получить квартиру в ещё строившемся академическом доме на Ленинском проспекте (во дворе). Переезд состоялся в ноябре 1979 г., переехали мои родители и кот Ферапонт Второй (Ферапонт Первый всю жизнь прожил на улице Георгиу-Дежа, как тогда называлась Вторая Песчаная). Однако отца не стало уже через год, потом не стало и кота, и мама жила одна, помогала последняя её домработница Саша, одновременно и медсестра: она старалась в благодарность за то, что тётя помогла её дочери поступить на факультет журналистики. В это время ей прибавилось забот: с лета 1980 г. она после смерти академика Е.А. Жукова, всегда к ней благоволившего, стала директором Института всеобщей истории (упоминавшийся выше Институт истории разделился на Институт всеобщей истории и Институт истории СССР ещё в 1968 г.). Одновременно она готовила всемирный конгресс византинистов, ей впервые удалось добиться решения ЦК провести его в Москве. Он состоялся в 1991 г., но мать до него не дожила.

Думаю, что мать, в течение длительного времени показавшая себя хорошим администратором в рамках советских правил игры, стала директором слишком поздно. Ей было уже за шестьдесят лет, и стала проявляться усталость. И начала меняться обстановка в

стране. Мои родители десятилетиями привыкли к советской системе ценностей и не видели ей альтернативы. Но к 70–80-м гг. вокруг них уже многие, в том числе видные специалисты, меняли мировоззрение, принимая взгляды противников СССР в холодной войне. Таких людей было немало и в Институте всеобщей истории, и мать это понимала. Лучше она относилась к продолжателям традиций царской России, но не принимала взгляды убеждённых западников. Когда она стала в 1980 г. директором, всё внешне выглядело по-старому, но подспудные процессы развивались. А потом ещё при ней началась «перестройка». Она пережила много смен официальной линии и умела меняться со временем, но сейчас появилось ощущение чего-то совсем нового и непонятного.

Ей нравился Горбачёв и тем, что молод и энергичен, и просто как руководитель «своей» страны и «своей» партии. Представить себе дальнейшее в 1985–1987 гг. ещё мало кто мог. Но росло ощущение того, что происходит нечто, ранее невиданное. В последний год жизни она как-то сказала мне: «Если для укрепления страны нужно изменить экономику, значит, так и надо. Но лишь бы не трогали идеологию!». Возможно, она интуитивно почувствовала, что именно смена идеологии разрушит общественный строй, в котором она прожила всю жизнь, и который был для неё нормой.

Но уже покушались и на идеологию. Зав. сектором в её институте Ю.Н. Афанасьев (до того у них были прекрасные отношения) в журнале «Коммунист» опубликовал статью с резкими оценками всей советской исторической науки. Этот конфликт закончился переходом Афанасьева в Историко-архивный институт, преобразованный им в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), который должен был по его замыслу превратиться в центр «свободной науки». Новый удар: в малоизвестном журнале «Век XX и мир» появилась статья её знакомого со студенческих лет М.Я. Гефтера. Когда-то они дружили, но потом он стал оппозиционером и ещё до перестройки вышел из партии. Это, с точки зрения матери, делало его навсегда изгоем, и вдруг его печатают в Советском Союзе. Для неё это выглядело как появление из небытия давно умершего человека. В институте началась борьба за расширение прав «совета трудового коллектива», возглавляемого оппозиционерами, за счёт дирекции. Дело шло явно к свержению директора, но мать своей смертью освободила место раньше.

Последний раз я видел её 26 сентября 1987 г. в её квартире на Ленинском проспекте. Она читала корректуру своей последней книги «Византийская культура» и рассказывала мне об академических делах. Когда я вечером уходил, она спросила меня, что сегодня по телевизору. Я ответил, что вечер Жванецкого (тогда ему впервые разрешили сольный концерт по телевидению, что стало сенсацией). К моему удивлению, она спросила, кто это. Я рассказал, упомянув, что он сейчас очень знаменит. Она вдруг воскликнула: «А для меня знаменитый человек – не Жванецкий! Для меня знаменитые люди – Михаил Пселл, Виссарион Никейский!». Она назвала персонажи из византийской истории (Виссариону была посвящена её кандидатская диссертация). Изучение Византии она по-прежнему считала главным делом своей жизни, спасавшим от мрачных мыслей.

Через два дня она уехала в Баку для участия в симпозиуме с венгерскими учёными, которых возглавлял академик Пах. Они были очень любезны и настроены на сотрудничество с Москвой (куда всё делось уже через два года?). На другой день всех повезли показывать город, в котором мать никогда не была. На пляже она вдруг захотела искупаться, хотя не входила в воду уже лет десять. Тот же азарт, что в Теберде! В воде ей стало плохо, и она захлебнулась. Ей было 69 лет. Её похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с родителями и мужем, в 1999 г. там положили и сестру.

О матери говорили по-разному, но больше всего мне запомнилась неожиданная оценка, которую ей дал ныне покойный академик-филолог Никита Ильич Толстой, правнук Льва Николаевича: «Зинаида Владимировна была настоящая русская барыня». Она не была дворянкой, а была коммунисткой. Но, видимо, в ней было что-то, что оценил потомок графского рода.

Стартовые позиции моего отца Михаила Антоновича Алпатова (20 ноября 1903 – 17 декабря 1980) были совершенно другими. Если мать принадлежала к интеллигентам во втором или третьем поколении, то он в анкетах в графе о происхождении писал «из крестьян». Но он всегда подчёркивал, что происходит не просто из крестьян, но из особой их группы – донских казаков. Сейчас иногда считают, что эта группа чуть ли не всё советское время преследовалась и всячески ограничивалась, и казачье происхождение надо

было скрывать, но, по крайней мере, в его случае такого никогда не было. Он, наоборот, гордился происхождением и никогда его не скрывал. Неприятностей в первой половине его жизни было немало, но как раз казачьи корни не бывали их причиной.

Отец был уроженцем хутора Сибилёв Митякинской станицы Донецкого округа Области Войска Донского, где его дед по матери Дмитрий Петрович Алпатов имел хозяйство. У него не было сыновей, и чтобы род Алпатовых не пропал, постарался найти на другом хуторе зятя-однофамильца, который переехал бы в Сибилёв. Тесть и зять, однако, быстро рассорились, мой дед Антон Данилович оказался человеком властным и упрямым. Гораздо большее влияние на мальчика оказался Дмитрий Петрович, о котором у внука сохранилась добрая память.

Обычное крестьянское детство, которое Михаил Антонович через много лет изобразил в романе «Горели костры», во многом автобиографическом. С ранних лет надо было привыкать к деревенскому труду, пасти скот, помогать в сборе урожая. Но казаки принадлежали к военному сословию, дети с самого начала знали, что им предстоит долгие годы воинской службы. Самыми уважаемыми людьми на хуторе были ветераны. Михаил в детстве застал единственного на хуторе участника Крымской войны, а освободителей Болгарии от турок ещё было немало. С другой стороны, среди сибилёвцев были и гвардейцы, служившие в Петербурге, они не воевали, зато видели царя. Бывали разные варианты судьбы, но в детстве мой отец не мог подумать о том, что с ним случится на самом деле.

К 1914 г. в семье уже были три сына и дочь. Антон Данилович, мастер на все руки, как-то сказал: «Всё я умею, только не умею и не люблю тачать сапоги. Пусть мой старшой будет сапожником». Он уже договорился, к кому его сын пойдёт учиться после окончания полевых работ. Но началась война, Антон Данилович ушёл воевать, моя бабушка Агриппина Дмитриевна с детьми перебралась к своему отцу, и обучение тачать сапоги не состоялось. А на следующий год жизнь резко изменилась.

На Сибилёве долго даже не было школы, и Дмитрий Петрович при всём его уважении к «учёным людям» умел только расписываться. Однако мой отец оказался среди первого набора в приходскую школу. Учили чтению, письму, арифметике, а мужскую часть

детей – еще начаткам военного дела. Об учителе Степане Васильевиче остались самые тёплые воспоминания, отец изобразил его в романе «Горели костры», сохранив подлинное имя и отчество и сделав революционером, которым он не был. На самом деле он сильно пил, но был добрым человеком, и это перевешивало.

Казалось, что на этом образовании должно навсегда закончиться, как это произошло с большинством сибилёвских детей. Но летом 1915 г. вдруг объявили набор в мужскую гимназию в станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский). У нас редко вспоминают предреволюционную реформу образования, проведённую министром графом П.Н. Игнатьевым. Её целью было дать возможность подняться наверх способным людям из «простых», что ранее сдерживалось циркуляром о «кухаркиных детях». Всего за два года социальный статус изменили многие, затем занявшие в стране заметное место, достаточно назвать две фамилии: Шолохов и Брежнев. Из небольшого Сибилёва по рекомендации Степана Васильевича были посланы три выпускника приходской школы. Никто из них уже не вернулся к крестьянской жизни (остальные двое иногда приезжали к отцу в Москву, и я их помню). Один стал инженером-строителем, другой учителем, отец пошёл дальше всех. Отец говорил, что не раз в жизни ему помогали добрые люди, Степан Васильевич стал первым из них.

Мальчик ещё недавно пас скот и готовился стать сапожником, а теперь учил немецкий и латынь, которую полюбил на всю жизнь (когда я стал студентом, он меня гонял по латинским склонениям и спряжениям). Ещё он учился играть на мандолине и всерьёз осваивал рисование (тогда и даже позже мечтал стать художником), играл в драмкружке, где ставили «Два брата» Лермонтова.

И, по-видимому, как раз тогда ему впервые захотелось стать историком. Решающую роль здесь сыграл директор гимназии и преподаватель истории Митрофан Петрович Богаевский, прозванный «донским златоустом» (он упоминается в «Тихом Доне»). Спустя полвека отец во всех деталях мог пересказать его речи перед учениками. Мне они показались вполне правильными и разумными, но отец разъяснил, что Богаевский принадлежал к партии кадетов и излагал кадетские взгляды. В другой обстановке, может быть, и М.А. Алпатов оказался бы в этом лагере, но всё пошло иначе.

К моменту революции Митрофан Петрович стал правой рукой белого атамана Каледина (его заместителем по гражданским делам), оба они ещё в начале 1918 г. погибли. Занятия в гимназии некоторое время ещё продолжались, но всё быстро разваливалось. Гимназисты бегали слушать ораторов, то белых, то красных, видели атаманов Каледина и Краснова, а бой под Глубокой происходил совсем рядом. В конце жизни отец, много слышавший об этом бое, любил сокрушаться о том, что его если знают, то только по описанию Шолохова, который с исторической точки зрения много напутал. Наконец, в начале 1919 г. занятия окончательно прервались, и мечту стать историком пришлось оставить надолго, но, как оказалось, не навсегда. Михаил вернулся на хутор, где дед к тому времени умер и командовал Антон Данилович, который своё отвоевал и не хотел присоединяться ни к белым, ни к красным. Отношения отца и старшего сына к тому времени разладились: Антон Данилович не мог принять гимназические привычки Михаила, считая, что он не хочет работать и ищет лёгкой жизни. Он в отличие от своего тестя признавал только физический труд.

Через Сибилёв дважды проходила отступавшая белая армия, Антон Данилович, не желая вступать в бой, дважды вместо себя посылал старшего. В первый раз летом 1919 г. белые скоро вернулись, но в ноябре они уходили навсегда. Михаил, которому только что исполнилось шестнадцать лет, был с отцовскими подводой и конями определён в обоз армии Деникина и за четыре месяца проделал путь от Сибилёва до Новороссийска. При мне отец никогда о нём не упоминал и, по словам матери, он лишь один раз рассказал ей этот эпизод в самом начале их совместной жизни. Но он включил повествование об этом в повесть «Вадимка», изданную посмертно в 1985 г., которую кратко перескажу.

Белую армию Вадим-Михаил увидел уже в период её разложения. Холод, голод, вши, развал дисциплины, чудовищная озлобленность солдат и офицеров. Попадавших им в руки красных пытали и убивали. Уже в Новороссийске украли подводу и коней. В марте 1920 г. белые оказались прижаты к морю. Ночь они назвали «ночью Страшного суда». Масса народа пыталась погрузиться на не очень большой корабль, для большинства места не хватило, судно отправилось, толпа бросилась вплавь, пытаясь забраться на борт. И тогда по толпе ударили из корабельных орудий. Били по своим! Это нельзя было забыть.

Оставшиеся без всякой надежды ждали появления красных. Думали, что всех убьют. Случилось иначе. Кого-то отправили под трибунал, но многим, как Григорию Мелехову, предложили вступить в Красную Армию, а мальчишек, вроде моего отца, красноармейцы обогрели, накормили и отпустили домой. Опять встретились добрые люди. Юноша при другом раскладе мог бы остаться с белыми, попасть в эмиграцию, но получилось именно так. Эмоциональный выбор был сделан на всю жизнь. С большими трудностями и приключениями он лишь к лету добрался до хутора, но по пути и здесь встречались добрые люди. Вернувшись домой, он вступил в комсомол.

Гражданская война на Дону окончилась, но ещё шла война с так называемыми бандами, вспомним финал «Тихого Дона». Об участии в этой борьбе отец иногда рассказывал, описал он её и в повести «Вадимка». Он некоторое время состоял в Части особого назначения (ЧОН) по борьбе с бандитизмом. Смерть была рядом, человеческая жизнь ничего не стоила. Как-то поздним вечером его задержали конники, Михаил понял, что это бандиты. Они потребовали документы. В кармане лежали комсомольский билет, удостоверение ЧОН и справка о воинской обязанности. Показать два первых документа – немедленная смерть, надо было вытащить справку. И он её вытащил!

В те годы комсомолец не только боролся, но и учительствовал на родном хуторе. Но хотелось учиться дальше, и летом 1923 г. он получил направление от райкома комсомола на обучение в педагогическом техникуме в Ростове. Направление вызвало ярость Антона Даниловича, который был и кузнецом, и столяром, а любая «лёгкая работа» вызывала презрение. Впоследствии его старшая дочь Клавдия осталась практически неграмотной, проучившись лишь один год, из-за того, что начиная со второго класса, родители должны были покупать тетрадки. Он заявил сыну: «Я думал, из тебя выйдет мастер, а выходит босяк!». Они крепко поругались и наладили отношения лишь через тридцать лет у меня на глазах.

В Ростове по комсомольскому направлению можно было без экзаменов устроиться в любые учебные заведения, и отец оформился сразу в университет, педагогический техникум и художественное училище. Вскоре стало понятно, что всё не потянуть и надо что-то выбрать. И тут в техникуме его выбрали в студенческий комитет. Исходя

из того, что было принято в комсомольской среде, он решил: «нельзя ставить личное выше общественного», и остался там. Впоследствии он жалел об этом выборе, который надолго задержал получение им высшего образования. И не реализовалась мечта стать художником.

Но студенческая жизнь была весёлой. Он описал её в ещё одной автобиографической повести, которая сначала называлась «Комсомольская бурса», но при публикации получила название «Возвращение в юность». В «бурсе» создавалось студенческое братство. Ни в какой другой из периодов жизни отца он не приобрёл столько друзей на долгие годы. Кто-то погиб в 1937 г. или на войне, но многие жили ещё долго, и отец поддерживал с ними отношения; часть друзей потом перебрались, как и он, в Москву, большинство не ограничилось техникумом и получило высшее образование.

Студенты техникума бывали разными, в том числе по происхождению, но большинство было увлечено идеями построения нового мира. С почтением относились к Ворошилову, тогда командовавшему Северо-Кавказским военным округом и жившему в Ростове, а потом глядели на его проводы в Москву на место умершего Фрунзе. Радовались известиям о начавшейся в Германии осенью 1923 г. революции и огорчились, когда она не удалась. Тогда было развито студенческое самоуправление, и студенты постоянно вмешивались в учебный процесс. Отец стал здесь лидером и авторитетом для товарищей.

Техникум был окончен в 1927 г. Алпатов недолго работал в селе Белая Глина, а затем четыре года преподавал обществоведение (предмет, которому тогда обучались вместо истории) в казачьей станице Романовской на берегу Дона, был там одно время директором средней школы. К этому времени он был женат на Александре Мурузовой, вместе с которой учился в Ростове (мать – дворянка, отец – нахичеванский армянин).

Это были переломные годы, связанные с процессом коллективизации. Отец, как раз в Романовской вступивший в партию, был в первых рядах ездил по хуторам и сёлам, агитировал за колхозы, постоянно читал лекции и просвещал казаков. Эта работа ему нравилась, в выступлениях он любил приводить исторические примеры. Потом вышло постановление, запрещавшее отвлекать педагогов от основной работы. Ему уже не разрешали ездить по району, зато

остальные коммунисты стали наваливать на него дела в самой станции. В том числе ему пришлось замещать уехавшего агитировать за колхозы судью, об этой странице жизни он любил вспоминать.

Сначала молодой коммунист был полностью убеждён в необходимости коллективизации. Но настроения крестьян, включая даже бывших красных партизан, были иными. Он рассказывал им, что когда-то в деревне преобладали середняки, а кулаков и бедняков было немного, но с развитием капитализма середняки исчезают, меньшинство становится кулаками, а основная масса попадает в бедняки. На это ему отвечали: «А, может быть, я в кулаки сумею выбиться». Как было на это ответить? И не хотели идти в колхоз бывшие красные партизаны: пользуясь конъюнктурой, они разбогатели при НЭПе, и терять нажитое им не хотелось; они, привыкшие воевать, больше всех сопротивлялись коллективизации. И в Романовской произошёл «бабий бунт», по Шолохову. Отец выступил против закрытия церкви, считая его несвоевременным. Но церковь всё же закрыли, и тогда к райкому прибежала толпа женщин, требуя «открыть церкву», при этом кричали: «Вот Алпатов – умный человек, правильно говорит». Начались неприятности, но обошлось. И всё становилось хуже. Ещё недавно зажиточная станица оказалась на грани голода. Твёрдые с 1920 г., убеждения отца впервые дали трещину.

Надо было искать выход, который на личном уровне был найден. Эти раздумья, как мне кажется, отразились в написанном много позже романе «Горели костры», где персонажи в другую эпоху и по другому поводу ведут спор о том, что лучше: делать историю или о ней писать. Всё труднее становилось участвовать в истории, которая развивалась не так, как хотелось бы, а писать историю, вероятно, он мечтал со времён уроков Богаевского. Летом 1932 г. М.А. Алпатов получил разрешение ехать в Москву, чтобы поступать на исторический факультет Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ). Как я выше уже упоминал, тогда в МГУ не было гуманитарных факультетов, и МИФЛИ их заменял.

Абитуриенту было уже 28 лет, но вписаться в новую среду ему удалось. Он поселился в общежитии МИФЛИ на улице Белинского в самом центре Москвы и приступил к занятиям. Но в Романовской

ещё оставалась жена, у которой только что родилась дочь. В первые зимние каникулы отец поехал за ними. С ними всё было в порядке, но поездка была страшной. Летом голод только начинался, а теперь в разгаре было то, что на Украине официально назвали Голодомором. Но ведь жили в Романовской не украинцы! Вымирали деревни, дети умирали за партами, шла борьба с «кулацким саботажем». Обо всём этом я слышал от него самого. В Романовской станице он снова побывал лишь через сорок лет вместе со мной. В Сибилёв приезжал на два года раньше.

Скажу здесь и о судьбе других моих донских родственников. Кроме отца выросли ещё братья Александр и Фёдор и сёстры Клавдия и Мария (ещё сын и дочь умерли в детстве). Во время коллективизации Антон Данилович продал свой курень и навсегда покинул Сибилёв, забрав с собой семью. Он, как уже говорилось, был мастер на все руки, но больше всего работал как столяр, долго не задерживаясь на одном месте и постоянно выгадывая, где лучше платят. Фёдор, которого отец послал на разведку более выгодной работы, не дав денег, не выдержал долгого пешего перехода и умер прямо на дороге от голода, так и не успев жениться. Александр женился и более или менее устроился в Каменске, но в 1943 г. погиб где-то под Киевом. Его дочь Тамара жила у нас летом 1955 г., когда поступала в институт имени Менделеева, но не прошла по конкурсу и потом рано умерла. Вдову Александра я видел на похоронах своей бабушки в 1975 г. с маленькой правнучкой; стало быть, моя бабушка в конце жизни стала прапрабабушкой. Сразу после войны моему деду надоело возиться с семьёй, и они с бабушкой разошлись. В эти годы мой отец восстановил отношения с матерью, которая иногда к нам приезжала. Когда речь заходила о бывшем муже, она махала рукой и говорила: «Без него лучше». К тому времени бабушка и её дочери окончательно переехали в посёлок Глубокий рядом с Сибилёвым, хутор тогда захирел, а жизнь из него переместилась в Глубокий, где находится железнодорожная станция. У Клавдии родился сын Володя, у Марии сын Коля. Мария, работавшая кладовщицей, иногда приезжала к нам в Москву, а неграмотная Клавдия – никогда. Мария умерла в 1985 г., ещё нестарой, от рака, а Коля изредка и сейчас мне звонит. Но отношения с донскими родственниками у меня никогда не были близкими; пожалуй, больше с ними была связана семья моего брата по отцу

Игоря. А моя мать и моя жена не считали их людьми своего круга и избегали с ними контактов. Что касается Антона Даниловича, то он, как уже сказано, помирился с сыном в 1953 г., к этому времени ему уже было тяжело столярничать, и он зарабатывал лечением травами по «народному травнику» дореволюционного издания. Умер он в 1964 году.

Если о Новороссийске отец не мог говорить, то о коллективизации он говорил часто, а иногда и писал. Чувствовалась, что это была и важная, и больная для него тема. И позиция его была двойственной. Он много знал и многого не мог простить. Но ему нужно было убеждать окружающих и, видимо, самого себя в том, что деятельность его и его товарищей была не напрасной при всех жертвах и дала результат. После войны его мать, впервые приехав в Москву, на вопрос о том, как живут сибилёвцы, ответила: «Пьют да воруют». Слышать такое ему было тяжело. Возможно, поэтому он долго избегал ездить на Дон и поехал, лишь когда его пригласили как «писателя-земляка» после выхода романа «Горели костры». И он убедился в том, что жизнь на Дону в 70-е годы была лучше, чем сразу после войны. Стало быть, он боролся не напрасно?

Но всё это будет ещё не скоро, а в 1932–1937 гг. студент Алпатов усердно учился. Что-то у него оставалось от гимназической подготовки. Хороших специалистов в ИФЛИ было немало, многие сформировались в профессии ещё до революции. А у отца уже была семья. В Романовской и Москве двух детей они потеряли, остались дочь Нинель (Нана) (1933–2014) и сын Игорь (1935–2005). После скитаний по общежитиям удалось устроиться в подмосковном Быкове. Там Александра Мурадовна много лет работала в школе, дети стали докторами наук, но Михаил Антонович уже с ними не жил.

В 1937 г. Алпатов окончил институт и был зачислен в аспирантуру, но учиться тогда ему не пришлось. Как он потом рассказывал, летом того года он лежал в Быкове в гамаке, а вокруг участка ходил наблюдатель и фиксировал входящих и выходящих. К тому времени был арестован его друг с донских времён Николай Жариков, также уже живший в Москве. В доносе было сказано: «Жариков вёл антисоветские разговоры, а Алпатов с ним спорил». Это соответствовало действительности; то, что друг отца говорил о Сталине,

было близко к тому, что потом скажет о вожде Хрущёв. В сентябре Алпатова обвинили в «притуплении классово-бдительности», с этой формулировки часто начинались дела, завершавшиеся арестом. Сейчас обычно считают, что такие люди всегда бывали обречены и никто не смел их защищать. Но в данном случае опять нашлись добрые люди, прежде всего, профессор МИФЛИ Алексей Петрович Гагарин, благодаря которому первоначальный вердикт об исключении из партии райком заменил «строгим выговором с занесением в учётную карточку». Но из аспирантуры исключили. Добрые люди посоветовали временно уехать из Москвы, получив направление в Наркомате просвещения.

В наркомате по коридорам ходили посланцы из периферийных вузов и искали людей для заполнения вакансий, образовавшихся в связи с арестами преподавателей. Его нашёл представитель Сталинградского пединститута, отец предупредил о строгом выговоре, последовал ответ: «Так не исключили же», и они поехали. Михаил Антонович говорил потом: «Меня потянуло за штаны и отпустило». В Сталинграде, несмотря на выговор, его не тронули. А Жариков погиб, в 1952 г. отец помогал его дочери поступить в московский институт.

В Сталинграде оказалось, что по античности преподаватель есть, но некому читать историю средних веков; пришлось переквалифицироваться. В МИФЛИ он прослушал общий курс у Е.А. Косминского, но не проходил специализацию и недостаточно владел фактами. А перед его приездом в пединституте сожгли библиотеку, будучи не в состоянии отделить сочинения «врагов народа» от остальных. К счастью, не стали жечь энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Факты можно было брать оттуда, а затем самостоятельно давать им марксистскую интерпретацию. Готовиться к занятиям приходилось, особенно поначалу, всю ночь, а халтурить отец не умел. Утром он клал голову под кран с водой и шёл на лекцию. С тех пор он на всю жизнь полюбил эту энциклопедию и когда в начале 50-х гг. работал в Большой советской энциклопедии, добыл её полный комплект, который потом перешёл ко мне.

Отъезд в Сталинград спас отца, но разрушил его семью. Жена не могла уезжать в неизвестность с маленькими детьми и терять работу и осталась в Быкове, а в Сталинграде появилась новая жена, о которой я почти ничего не знаю, даже возраст и профессию, и которую я в отличие от первой жены никогда не видел. Знаю лишь,

что звали её Марией Фёдоровной и, по словам сестры моей матери, она была очень красива. Они затем вместе приехали в Москву и вместе жили до его отъезда из Москвы, потом уже была моя мать. Мария Фёдоровна долго не давала развода. Что было с ней потом, тоже не знаю.

После трёх лет работы в Сталинграде с помощью того же А.П. Гагарина Михаил Антонович вернулся в Москву, где последний мирный год он преподавал на Ленинских курсах, готовивших пропагандистов (их выпускники ушли политруками на фронт и почти все погибли), и восстановился в аспирантуре. Теперь уже по Средним векам, к Косминскому (тогда же к нему поступила в МГУ моя мать, но контактов между ними ещё не было). Потом началась война.

Дальше начинается самый спорный этап жизни отца. 16 октября 1941 г. он покинул Москву в рядах ополченцев. Он не раз рассказывал, как шагал весь день от сборного пункта в здании Горного института в начале Большой Калужской до платформы Востряково, как лейтенант определил его в шофёры для подвоза снарядов. На слова о неумении водить последовало: «Ничего, два раза побылаешь в канаве и научишься». Но что было потом, не знаю. Известно лишь, что его в тот же день признали непригодным к службе из-за болезни сердца и что он через Казань попал в Чкалов (нынешний Оренбург), где стал инструктором обкома по протекции товарища по МИФЛИ С.П. Сурата.

Были люди, осуждавшие отца за то, что он не был на фронте. Сестра моей матери потом говорила, что среди их знакомых по эвакуации всех мужчин, в конце концов, забрали в армию, даже ссыльных, и лишь Михаил Антонович этого избежал. Болезнь сердца у него действительно была: из-за неё его не взяли в армию после окончания техникума, и от неё он через много лет и умер. Но в 1941 г. люди скрывали болезни, добываясь права умереть за Родину. А отец в юности воевал: были в его жизни и ночь Страшного суда, и ЧОН. И не из-за этого ли он не хотел повторять это? И объективно он повторил путь своего отца, который прошёл и срочную службу, и Первую мировую, а от Гражданской войны отстранился. Не знаю, боюсь судить.

В Чкалове он при секретаре обкома Г.А. Денисове стал тем, кого сейчас стали называть спичрайтерами, писал ему речи к 25-летию Октября и другим датам. Как в Романовской, приходилось ездить

по деревням, теперь в качестве уполномоченного. Нередко это надо было делать в сорокаградусные морозы, ночевать в избах с коровами, отгоняя ночью бегавших по нему козлят. Как-то он спросил у С.П. Сурата, зачем нужны уполномоченные, если они ничего не знают о сельском хозяйстве. Тот ответил: «Мы нужны самим фактом существования. Председатель колхоза знает, что есть человек, который может приехать и его разогнать, вот и старается».

Но одна из таких поездок в Бугуруслан стала поворотом судьбы сразу для двоих: для моих родителей. Об этом я уже писал, рассказывая о матери. Она летом 1943 г. первая вернулась в Москву и стала хлопотать о возвращении любимого человека. Михаил Антонович в ноябре того же года смог приехать в Москву, которую он больше не покидал. Укорениться было сложно из-за отсутствия московской прописки. По этой причине сначала он не мог и устроиться на постоянную работу. Лишь в конце 1944 г. удалось стать заместителем заведующего кафедрой всеобщей истории Высшей партийной школы на Миусской площади, а прописаться на Конюшковской он смог уже после войны. Брак родителей формально был заключён лишь в 1953 г., когда мы уже жили на 2 Песчаной, а я ходил в школу: до того согласия не давала предыдущая жена.

Как я выше писал, казачье происхождение никак отцу в жизни не мешало, скорее по другим причинам мешало указываемое в анкетах происхождение «из крестьян». Это считалось плюсом, который нередко не давал заниматься наукой. А Михаил Антонович к тому времени уже окончательно предпочёл писать историю и не делать её.

Сначала Высшая партийная школа, где надо было иметь дело с не слишком образованными партийными работниками и ездить по стране для приёма экзаменов у заочников. А путешествовать отец в отличие от матери не очень любил. Но многое приходилось видеть интересного. Например, он ездил в Калининград, откуда ещё не выселили немцев, и он наблюдал, как русские и немцы выходят из положения при общении, почти не зная языков друг друга. И хочу отвлечься и рассказать историю, которую тогда пережил мой отец и даже описал её в рассказе «Пропал коньяк», оставшемся непубликованным.

Он ехал в поезде в командировку. В купе их оказалось двое, у соседа была бутылка коньяка, которую её хозяин предложил распить. Они выпили и легли спать. Утром они были разбужены причитаниями проводницы, повторявшей одну фразу: «Пропал коньяк». Оба были удивлены: почему выпитая бутылка пропала. Проводница объяснила: была бы у нас, простых людей, бутылка коньяка, сколько песен бы спели, как бы повеселились, а вы легли спать. Вот наглядный пример различий народной и интеллигентской психологии, которые в 30-е гг. сверху пытались преодолеть «вывариванием в рабочем котле»!

Отец тогда уже привык быть интеллигентом. Он рассказывал мне, что ещё в гимназии крепко запомнил литературную орфографию, а говорил ещё по-сибилёвски: тогда правильному произношению специально не учили, оно усваивалось через подражание тому, как говорят образованные люди. Но на моей памяти он говорил вполне грамотно. И как было поступать с привычной на хуторе матерной (как сейчас принято говорить, обценной) лексикой? За всю жизнь с отцом помню единственный случай. Когда ему было далеко за шестьдесят, нам надо было чинить магнитофон. До мастерской было минут десять ходьбы, а тогдашние магнитофоны были огромные агрегаты, мы с отцом с трудом несли его вдвоём. В мастерской нас обхаживали и магнитофон не взяли, пришлось тащить обратно. Придя домой, разозлившийся отец ушёл в дальнюю комнату, закрыл дверь и, думая, что его не слышно, произнёс: «... твою мать». И я понял, как трудно ему обходиться без этой лексики, но он обходился. Ситуация, типичная для его поколения, в котором многие пробивались наверх. Если потомственные интеллигенты нередко даже щеголяют познаниями в этой области, то люди с биографиями моего отца исключали такие слова из своей речи раз и навсегда, как бы это ни было тяжело.

Параллельно с преподаванием отец при дефиците времени всё же написал кандидатскую диссертацию «Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в.», защитил её в конце 1947 г. и через два года издал в виде книги (переведённой затем на польский язык). Помню, как он, взяв меня, ездил в Институт истории на Волхонку за корректурой. Работа шла, но бывали трудности, в том числе психологические. Жена, несмотря на моё рождение, на

два года обогнала его с защитой, что плохо согласовывалась с воззрениями на роль женщины, приобретёнными на хуторе. Потом она раньше мужа стала и доктором наук, а членом-корреспондентом Академии наук смогла стать только она. И он чувствовал, что московское научное сообщество не считает его в отличие от жены вполне «своим». Интеллигенты в нескольких поколениях видели в нём, как бы он ни говорил, выходца из деревни, чувствовался и поздний его приход в науку: кандидатскую диссертацию защитил в 44 года. Все оппоненты были его моложе, что впоследствии повторилось и на докторской защите. Моя мать дружила с Косминским до самой его смерти, а отец ощущал его высокомерие в отношении себя. Это всегда бывает трудно простить, и отец, уважая руководителя диссертации как учёного, поддерживал с ним лишь деловые отношения, а после защиты вовсе не общался.

Книга через десять лет получила неожиданный отзыв. Среди столпов «буржуазной историографии» там рассматривался А. Токвиль, который ещё в первой половине XIX в. дал определение демократии, считающееся на Западе классическим. И в 1959 г. его вспомнил президент США Эйзенхауэр, используя для доказательства тезиса об отсутствии демократии в СССР. Хрущёв решил ответить, за справкой обратились в Институт истории, где уже работал отец, и он оказался единственным, кто с советских позиций писал о Токвиле. М.А. Алпатов не любил Н.С. Хрущёва, о чём я дальше скажу, но приказ есть приказ; он выписал формулировки из своей давней книги, озвученные потом Никитой Сергеевичем.

Заочники были не последним отвлечением от науки. В 1948–1951 гг. он, уйдя из Высшей партийной школы, заведовал исторической редакцией Издательства иностранной литературы (позднее разделившегося на «Прогресс» и «Мир»), а в 1951–1954 гг. – помощником главного редактора Большой советской энциклопедии: тогда начало выходить её второе («синее») издание. В отличие от прежних мест работы отца деятельность по энциклопедии во многом проходила на моих глазах и оказалась очень значимой для меня.

На отце лежала ответственность за гуманитарную часть издания. Главная редакция, состоявшая из очень знаменитых людей от математика Колмогорова до художника Иогансона, собиралась лишь время от времени, а главный редактор академик-радиофизик

Б.А. Введенский не скрывал некомпетентности в гуманитарных вопросах. Как рассказывал отец, академик лишь однажды вмешался в эту проблематику, когда на заседании главной редакции пытался изъять из подготовленного тома репродукцию «Спящей Венеры» Джорджоне, так как обнажённую женщину могут увидеть дети, гуманитарная часть редакции с трудом отстояла богиню. А помощник главного редактора должен был читать все корректуры, искать в них всевозможные погрешности, и спорные вопросы выносить на заседания главной редакции. Приходилось помогать и за пределами гуманитарной проблематики. Отец рассказывал, как ему и ещё нескольким сотрудникам пришлось поехать к Т.Д. Лысенко упрашивать написать статью «Вид» (в биологическом смысле). «Народный академик» произнёс длинный монолог на сюжеты, не связанные с темой визита, и лишь в самом конце произнёс одну фразу: «Статью я писать не буду».

Энциклопедия стала пиком карьеры отца. Были единственный раз в его жизни персональный шофёр Коля и машина, уровень зарплаты оказался очень кстати при покупке обстановки на новой квартире, куда мы как раз тогда переехали; квартиру тоже дали в энциклопедии. Я думал не об этом: энциклопедия, включая корректуры, оказалась для меня окном в мир. Я ещё не ходил в школу, но уже много читал и пристрастился к чтению энциклопедии, не всё, конечно, понимая; иногда там находил ошибки, например, в датах. Одна знакомая моих дедушки и бабушки написала стихи от моего имени, где были такие строки: «Энциклопедию вдвоём я и папа издаём». Многое от энциклопедических дел осталось в моей памяти, и я в 90-е гг. написал воспоминания о том, что помнил, включая рассказы отца, передав их в издательство «Энциклопедия», судьбу их не знаю.

Но всё это благополучие отец в 1954 г. добровольно оставил, исключительно по творческим причинам: ему хотелось заниматься наукой. Ещё раньше он по совместительству имел полставки в секторе историографии Института истории, в котором уже работала на постоянной основе моя мать. Теперь он перешёл на полную ставку, сильно потеряв в деньгах по сравнению с окончательно покинутой энциклопедией. С того времени он до конца жизни состоял в долж-

ности старшего научного сотрудника, административной деятельности удалось избежать, ещё раньше он оставил преподавание. Наконец, он получил то, что хотел.

Его областью исторических занятий стала историография, то есть история исторической науки. Он любил говорить: «Все пишут о производительных силах и производственных отношениях. А где же человек?». Он оставался марксистом, но его интересовали конкретные люди со своими особенностями, характерами и привычками. Это, видимо, привело его ко второй профессии – литературе. Тогда живые люди редко присутствовали в трудах советских историков, больше возможностей здесь было в историографии, где речь шла о деятельности конкретных людей и личность авторов книг и статей оказывалась неустранимой. И это определило научный путь отца.

Ещё работая в энциклопедии, Алпатов был привлечён к участию в коллективном труде «Очерки истории исторической науки в СССР», которым руководили сначала академик М.Н. Тихомиров, а затем академик М.В. Нечкина, «мать-начальница», как её называл Михаил Антонович (опять несоответствие сибилёвской картине мира). Труд был огромным (надо было описывать не только русских, но грузинских, молдавских, казахских и пр. историков), но главные сложности были не в этом. Пока описывали дореволюционную науку, авторы ещё как-то могли договариваться друг с другом и за полтора десятилетия издали три тома. В 1966 г. со скандалами выпустили четвёртый том, где говорилось о 1920-х гг., а дальше авторы переругались, и мудрая Нечкина поняла, что рано писать о том, что близко, будущее это подтвердило. Труд остался неоконченным.

Сектор историографии во главе с Нечкиной всё же остался, и отец продолжал в нём работать, стараясь как можно больше сидеть за письменным столом и как можно меньше ездить в институт и встречать в склоки и дискуссии. Так он жил с 1954 до 1980 гг., больше четверти века. Молодость была слишком беспокойной, а теперь казалось, что все неприятности позади. Для него так и случилось, исключая, конечно, время от времени возникавшие проблемы со здоровьем (в 1960 г. первый инфаркт); до новых коллизий он не дожил. Летом ездил отдыхать либо в Кисловодск (мать была привязана к своей родине, и отец вслед за ней привык ездить тоже),

либо в разные санатории под Москвой. В 60-е гг. ещё мы втроём дважды ездили на турбазы Дома учёных, где Михаил Антонович прославился умением разжигать костры. Но он никуда не ездил без ручки, бумаги и хотя бы одной-двух книг для проработки. Везде он находил время писать. На турбазах он клал на колени бумагу, что-нибудь под неё подкладывал и писал. Поздно войдя в науку, он старался компенсировать отставание.

После «Очерков» он выбрал обширную тему: обзор того, как в разные исторические эпохи в России смотрели на Европу. На её охват явно было недостаточно человеческой жизни. За два десятка ещё отпущенных ему лет он успел дойти до середины XIX века. Но были подготовлены и изданы три книги (третья по-смертно), а начальную часть исследования он в 1966 г. защитил как докторскую диссертацию (жена прошла эту процедуру шестью годами раньше). Уже в наше время изданы дневники тоже уже покойной М.В. Нечкиной, где она не одобряет выбор темы её сотрудником, поскольку тема сама по себе интересна, но не Алпатову ей заниматься. Как когда-то Косминский, она считала, что исследователю нужна наследственная культура, которой не было у выходца из деревни.

Но к тому времени отец писал не только по историографии. Более тридцати лет в нём боролись историк и писатель. Первые, несохранившиеся опыты, появлялись ещё в техникуме, потом долго таких попыток не было, а в 1948 г. во время обеденного перерыва в своём издательстве он вдруг стал записывать вспомненную им речь казака во время празднования столетия войны 1812 г., которую он слышал в детстве. Когда перерыв кончился, он порвал лист и бросил в корзину. Но желание писать о казаках осталось, вскоре появились первые наброски будущего романа, о публикации он тогда не думал, просто было интересно. Как и в области истории, начинающий писатель, которому было уже под пятьдесят, сразу поставил глобальную задачу: написать роман. Работа над ним шла около двадцати лет, время действия и название несколько раз менялись, итоговое название «Горели костры», а временные рамки сократились до периода с 1902 до 1905 года. С начала 60-х гг. начались попытки издания, сначала неудачные, но в 1970 г. роман удалось издать в издательстве «Советский писатель», потом были ещё

два издания. С самого начала автор ставил перед собой задачу связать две главные темы: хорошо известный ему казачий быт и знаковую в основном по книгам революцию.

Конечно, такая тематика заставляла думать о М. Шолохове, почти земляке. Вёшенская и Митякинская станицы даже входили в один округ Области Войска Донского. Ещё до техникума на окружающих учительских курсах он слышал рассказы вёшенцев о том, что у них появился свой писатель, фамилия которого ему показалась совсем не подходящей для таких занятий. Но Алпатов не был знаком с Шолоховым и никогда его не видел. Когда вышел роман «Горели костры», товарищ отца по техникуму, живший в Вёшенской, устроил там читательскую конференцию с приглашением автора. Отец поехал и взял меня, он надеялся подарить роман живому классику, но секретарь писателя (общий знакомый обоих) не допустил встречу. Было, конечно, обидно, тем более что отец с детства усвоил традицию, по которой казаки смотрели на «иностранцев» (не казаков, живших на казачьих землях) сверху вниз, а знаменитый земляк был «иностранец». Может быть, поэтому он был рад находить в «Тихом Доне» исторические неточности, но время действия изменил по сравнению с первыми вариантами, дистанцировавшись от Шолохова и отказавшись от искушения сделать себя прототипом одного из героев. В окончательном варианте он лежит в люльке, как это и было в действительности в 1903 г.

Сильная сторона романа – в изображении казачьего быта. Там хватало материала, в том числе не затронутого Шолоховым, присутствовали списанные с натуры живые люди. Но когда дело доходило до масштабных событий, историк начинал подавлять писателя. В итоге роман стал сочинением «местного значения»: на Дону его приняли хорошо. Единственной энциклопедией, куда попал Алпатов, помимо Википедии, стала изданная в 2000-е годы «Казачья энциклопедия».

Потом были написаны уже упоминавшиеся «Возвращение в юность» и «Вадимка», обе автобиографические повести были изданы, «Вадимка» также вышел в украинском переводе. Писал он и рассказы, и публицистические статьи, их небольшая часть составила книжечку в «Библиотеке «Огонька». В публицистике, в основном изданной, он старался совместить позиции донского казака и

коммуниста и доказывал, что революция была для казаков необходима. Сейчас преобладает другой подход, но у отца были аргументы, хотя его глубинная позиция была более сложной. Ещё он писал цикл большей частью юмористических «Академических рассказов» (один из них про коньяк я пересказал выше), оставшихся неопубликованными.

Среди этих рассказов был памфлет о Хрущёве, написанный сразу после его снятия и, по-видимому, потом уничтоженный. Я после смерти отца его не нашёл, но при его жизни читал и помню. События в стране требовали оценки, и она у него была двойственной.

Сейчас у нас уже стали постоянными стереотипы тех событий: оттепель, заморозки, смелый, хотя непоследовательный Никита Сергеевич, преодоление «тоталитарного мышления». Это оценки, выработанные на Западе и ставшие после его победы в холодной войне господствующими у нас: не всегда удачное, но всё же движение от «сталинского тоталитарного зла» к относительно нормальному обществу. Но по эту сторону «железного занавеса» в гуще событий всё переживалось сложнее и по-разному. Отец далеко не почитал Сталина и не раз при мне оценивал его очень резко (мать этого избегала). Но время Сталина было частью его жизни, где было много, как он считал, и хорошего, и плохого, и он не мог признать, что жил зря. Осуждение репрессий и массовую реабилитацию и отец, и мать, и практически все их знакомые восприняли однозначно положительно, никогда не считая личной заслугой Хрущёва. Отец сочувствовал возвращавшимся, помогал им и участвовал в реабилитации одного из учеников в Романовской, вернувшегося «оттуда». Когда мать рассказала ему, что одного из его товарищей по МИФЛИ уличили в том, что он писал доносы, отец сказал: «Нет больше у меня такого друга», и с тех пор дома я эту фамилию не слышал. И в то же время отец, мать и часть их друзей не могли принять «секретный» доклад Хрущёва на XX съезде: «Выставил нас на посмешище перед всем миром», – говорил он. В обнародованных фактах для отца не было особенно ничего нового, а в «измену» Жарикова и других друзей он и раньше не верил. Но следовавшая из доклада картина была непереносима. Он почувствовал, что теперь наша страна не будет восприниматься образцом мироустройства если не во всех, то в наиболее передовых странах. Последующие события это подтвердили. Отец с тех пор активно не

любил Хрущёва, подчёркивал его хамство и некультурность, радовался его падению и даже сочинил памфлет. Но справку о Токвиле он написал, считая, что пишет для авторитета страны.

Обо многом он не говорил, а реакция была непредсказуемой. В 1976 г. я женился, и первые годы мы снимали квартиру, но прописаны были на 2 Песчаной. Не помню уже почему, на Песчаной был и мой паспорт. В день очередных выборов мне очень не хотелось ехать через весь город только из-за голосования, и я по телефону попросил отца проголосовать за меня. И вдруг он закричал в трубку: «Какой же ты коммунист к ядрене-фене, приезжай!» (я уже был членом партии). Пришлось ехать. А незадолго до его смерти исполнилось 50 лет его пребывания в партии, я решил в этот день к нему заехать. Думал обрадовать, а он вдруг прореагировал очень сухо.

Разумеется, идейные разногласия и борьба группировок проявлялись и в Институте истории (с 1968 г. он разделился на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории). Как бы отцу ни хотелось избегать склок, бывали ситуации, когда это было невозможно. Вся биография, начиная с Новороссийска, толкала его в сторону официальной партии («черносотенной», как её называли самые непримиримые из противников). Он болел за русский народ (казачьего сепаратизма у него не было). Любимой его оперой была «Хованщина» Мусоргского. Он одно время увлекался пластинками, купил запись оперы и часто её ставил, особенно сцену «Стрелецкая слобода». А будущую демократическую партию, уже тогда очень сплочённую, он прозвал «кублом» (на Дону так называли гнездо гадюк). Но он не хотел никакой борьбы и старался налаживать отношения даже с «кублом» (которое, надо отметить, не держало к нему лично зла). Он строго различал науку и конъюнктурные обстоятельства. И даже либералы иногда признавали, что он ярко пишет с точки зрения стиля (всё же писатель).

Отдушиной оставались сохранявшиеся контакты со старыми друзьями, теперь в основном по телефону. Он очень рано перестал общаться с одноклассниками в гимназии (кроме поступивших вместе с ним сибилёвцев): видимо, культурные различия оказались значимыми. Когда он приехал в Каменск в 1971 г., из них он смог разыскать лишь одного. Зато оставалось довольно много товарищей по техни-

куму, часто проделавших путь, более или менее сходный с его собственным. Были среди них доктора и кандидаты наук, полковники, чиновники разного ранга. Был и один из первооткрывателей якутских алмазов. Среди них сохранилась память об отце как лидере их студенческого сообщества. Это я особенно почувствовал уже после его смерти. На сороковой день я собрал ещё ходячих выпускников техникума, и мы поехали на Ваганьковское кладбище. К нашему удивлению, там было не протолкнуться. Оказалось, что это был первый день рождения В. Высоцкого после его смерти. И один из друзей сказал: «Вот наш умница лежит, и никто его не знает, а какому-то фигляру все почести». Вся компания с ним согласилась. Пока он был жив, он часто оказывался связующим звеном среди давних друзей, однажды собрал их у нас дома. Собирал дома он и товарищей по МИФЛИ.

И, к ужасу моей матери, он продолжал общение со скотниками и кладовщицами, дальними родственниками и земляками, долгое время часто приезжавшими в Москву с Дона и предпочитавшими останавливаться у нас, иногда надолго. Приезжали за покупками, за лечением (в обоих случаях рассчитывая на помощь) и просто так. В 1953–1954 гг. в новой квартире бывали ехавшие через Москву домой бывшие раскулаченные. Отец всем помогал и со всеми находил общий язык, хозяин и гости вспоминали былое.

Однако потом гости стали приезжать всё реже. Михаил Антонович, чувствуя, что силы уходят, а многое ещё надо успеть написать, общался с друзьями и земляками всё меньше. Зато он вёл большую переписку. Перед каждым праздником он целыми днями трудился над текстами поздравлений.

А дома письменный стол с лежащим на нём котом, сначала Ферапонтом Первым, а после его смерти Ферапонтом Вторым, пережившим хозяина. Переписка и долгие телефонные разговоры с друзьями. Телевизор. Летом он уже не ездил в Kisловодск: когда жена стала членом-корреспондентом, она получила право отдыхать в санатории для членов академии «Узкое» в городской черте Москвы, который называли «академической подыхальной». Постоянно кто-то там умирал, во время одного из моих посещений родителей там умер А.Р. Лурия. Жизнь шла к закату (мать ездила в «Узкое» вместе с ним, но при этом постоянно бывали и командировки за границу). Но писать он продолжал много: и исторические сочинения, и повести (в том числе «Вадимку»), и письма.

Будучи прикреплен к академической поликлинике, Михаил Антонович постоянно должен был проходить там осмотры. Вечером 22 марта 1978 г. он ещё сидел за работой, когда в квартиру приехали из поликлиники врач и два санитара, прямо из-за стола его положили на носилки и на «Скорой помощи» увезли в сопряжённую с поликлиникой академическую больницу, хотя у него ничего не болело. Оказалось, что только что расшифровали сделанную двумя днями раньше кардиограмму и нашли второй инфаркт. Я не врач и не знаю, было бы лучше или хуже, если бы тогда не приняли столь жёстких мер. Меня самого несколько лет назад досконально проверяли при переходе из одной поликлиники в другую и обнаружили, что когда-то был инфаркт, которого я не почувствовал. А продлили или укоротили меры жизнь отцу, не берусь судить. Два с половиной месяца ему пришлось лежать, не вставая, после чего он заметно ослабел.

Однако в целом глобальных перемен по сравнению с тем, что было до больницы, не произошло, только он полностью перестал ездить в институт даже на такси, хотя ещё числился там в должности консультанта. Но по-прежнему обширные планы. Он даже начал набрасывать продолжение романа «Горели костры» и успел написать про бой при Глубокой, исправив исторические ошибки Шолохова. Этот текст, напечатанный в районной газете в Каменске, стал последней прижизненной публикацией М.А. Алпатова.

И в это время, в ноябре 1979 г., ему пришлось переехать на новую квартиру на Ленинский проспект. Переезд внешне не вызвал осложнений, которых боялась мать. Всё перевезли в целости. Тот же стол с той же лампой, те же книги и рукописи, тот же кот. Ещё год прошёл спокойно. Он ещё успел съездить на улицу Георгиу-Дежа, где уже хозяйкой стала моя жена, и посмотрел на изменения.

В свой последний день 17 декабря 1980 г. отец написал и сам отослал, дойдя до ближайшего уличного почтового ящика, первую порцию новогодних поздравлений друзьям. Потом сел писать раздел для историографической книги. Вечером с работы вернулась мать, и они обсуждали всех тогда волновавшие события в Польше, оба резко отрицательно относились к «Солидарности». Перед сном отец пошёл кормить Ферапонта и вдруг почувствовал, что задыха-

ется. Он сказал матери, что, видимо, простудился. Но это был третий инфаркт, и через час его не стало. Похороны были многолюдны, пришли друзья и знакомые разных лет жизни.

Вот такая сложная судьба, в которой много было тяжёлого и горького, а потом жизнь наладилась. По не зависящим от него обстоятельствам Михаил Антонович Алпатов пришёл в науку поздно. И всё же он прошёл путь от крестьянина-казака до учёного и писателя, реализовав свои несомненные способности. И до сих пор его сочинения остаются в научном обороте, мне приходилось видеть ссылки на них. Времена меняются, в том числе и в исторической науке, что-то устаревает, но у отца никогда не было «двоемыслия», которое сейчас приписывают чуть ли не всем жившим в советскую эпоху, кроме диссидентов. Но мой отец всегда писал так, как думал.

А ко мне от отца перешло постоянное желание писать, пусть уже не пером, как он, а сначала на пишущей машинке, а теперь на компьютере. И ещё одно: интерес к истории науки и живому человеку в ней.

В.М. Алпатов

ГЛАВА 2. О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ

Я поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ в 1963 г. и окончил его в 1968 г.

Вряд ли большинство из поступавших что-либо всерьёз знали об этом отделении, тогда только недавно открывшемся (в 1963 г. был четвёртый набор). Тогда ещё не было олимпиад для школьников по языковедению и математике (первая из них пройдёт, когда мы будем на втором курсе, о чём скажу дальше). Что-то писали в газетах и журналах, какие-то разговоры ходили среди московских школьников. Но многие решили поступать достаточно случайно, а других, как и меня, привело на отделение распространённое в ту пору увлечение «точными» науками, к числу которых тогда могла причисляться и лингвистика. Многим хотелось стать «физиками» в широком смысле, а не «лириками», известные стихи об этом Б. Слуцкого, появившиеся за четыре года до окончания мной школы, чётко отражали тогдашние настроения.

Мои родители были историками, занимались наукой, я с детства привык к их среде и, скорее бессознательно, ощущал своё будущее именно в научной сфере; работать руками я не очень умел. Однако привычная для меня среда была гуманитарной, здесь многие науки, особенно, конечно, историю, я хорошо знал с детства (лингвистику как раз я знал не слишком блестяще и никогда специально ей не увлекался). Родители, конечно, хотели, чтобы я стал историком, мать водила меня в два последних моих школьных года в Дом учёных на лекции Б.А. Рыбакова и Б.Б. Пиотровского, чтобы я увлёкся. Но мне казалось, что история будет для меня слишком лёгким занятием, а тогда повсюду пропагандировалось «счастье трудных дорог». Казалось, что такое счастье можно найти на переднем крае науки, разумеется, «точной».

Тогда экзамены в московские вузы были разведены по времени: в самые престижные учебные заведения вроде естественных факультетов МГУ их сдавали в июле, а в большинство других в августе. Под влиянием моды, как я это сейчас определяю, я решил поступить на физический факультет МГУ, хотя физика не была в отличие от математики среди моих любимых предметов, а единственную четвёрку на выпускных экзаменах я получил как раз по физике. Из класса на физфак рискнули поступать шестеро, попали в

итоге двое, а я провалился. Мне не повезло: на письменном экзамене по математике попалась задача, в которой надо было использовать знание устройства кронштейна, которое упоминалось в курсе физики, но я его забыл. Это был второй и, к счастью, последний мой провал после экзамена по технологии радиомонтажа во время производственного обучения в школе.

Но оставался август, и надо было думать, куда поступать теперь. Инженерные и чисто гуманитарные вузы меня не привлекали, и тут я прочёл в «Справочнике МГУ» об отделении структурной и прикладной лингвистики, где, помимо сочинения и устных экзаменов по русскому и иностранным языкам, надо было сдавать математику (другие отделения филологического факультета вместо математики экзаменовали по истории). На гуманитарных факультетах МГУ математика присутствовала лишь по двум специальностям: у лингвистов и экономистов. После некоторых колебаний между ними я предпочёл идти на лингвистику, о чём потом не жалел. Моей матери, имевшей много знакомых в академическом Институте славяноведения, где уже существовал сектор структурной лингвистики, посоветовали поговорить с заведовавшим этим сектором В.В. Ивановым, впоследствии академиком. Мы вдвоём к нему пошли, он всячески рекомендовал это отделение, и выбор был сделан.

Для поступления в вуз тогда надо было преодолевать дополнительные сложности, которых не было ни до того, ни после того. В те годы во главе страны стоял Н.С. Хрущёв, позднее обвинённый в «волюнтаризме», заключавшемся в любви к разного рода преобразованиям и нововведениям. Хрущёв боролся с наследием сталинской эпохи, не зная ему каких-либо альтернатив, кроме традиций первых лет после революции, на которых сам формировался. А тогда шла, в современной терминологии, «смена элит»: место прежних привилегированных слоёв занимали «выдвиженцы» от станка и сохи. Они должны были приобретать новые познания, но сохранять «пролетарский» взгляд на мир и не поддаваться чуждым интеллигентским «раздвоенности» и «рефлексии». У Хрущёва от того времени осталось презрение к «белоручкам», не «выварившимся в рабочем котле», и он попытался вернуть прошлое.

Я тут вспоминаю уже упоминавшийся в разделе о моём отце его рассказ «Пропал коньяк». В 20-е гг. выдвигались «простые» люди, которые всё время находились в состоянии общения, пили, пели и

разговаривали, одиночество им казалось несчастьем. Но тогда ставка на «выдвиженцев» была всё-таки естественным процессом, чтобы сейчас ни говорили, однако к 60-м гг. времена безвозвратно изменились. Одним из таких «выдвиженцев» был мой отец, но я уже был устроен по-другому. К 1963 г. давно сложилась советская интеллигенция, куда вошли и сохранившиеся интеллигенты старой формации, и часть «выдвиженцев» вроде отца, а новое поколение уже просто в силу своего социального положения и фактора времени не могло проникнуться психологией рабочих начала века, привыкших всегда существовать в коллективе.

Уже в 90-е годы я вместе с Ф.Д. Ашниным готовил книгу «Дело славистов», в которое на самом деле попали не только слависты. В том числе тогда оказался в лагерях видный учёный-гидролог Б.Л. Личков, ученик академика В.И. Вернадского. Учитель и ученик много лет переписывались, в том числе и в годы, когда Личков находился в заключении, их интересная переписка впоследствии была издана. И подводя итог своих несчастий после выхода на свободу, Личков писал, что жизнь в лагере была относительно терпимой, поскольку в годы многочисленных строителей каналов и гидростанций гидрологи были нужны, и его использовали не на общих работах, а по специальности. Но одно мешало жить: невозможность когда-либо остаться одному, всё время вокруг люди, часто неинтеллигентные. То, что было нормой для проводницы, жалевшей, что коньяк не выпили под коллективное пение, было невыносимо для учёного. А я при всём воздействии советской идеологии всегда ценил возможность побыть в одиночестве. И отец во второй половине жизни был счастлив за письменным столом.

Но Хрущёв, любитель экспериментов на людях, начал преобразования, исходя из психологии проводницы. В начале 60-х годов пошла «политехнизация» образования, как раз коснувшаяся нас. В школе нам добавили лишний год за счёт овладения рабочими специальностями и производственной практики на заводах, пришлось осваивать технологию радиомонтажа, про которую давно ничего не помню, кроме застрявшего в мозгу термина «дипольно-релаксационная поляризация». А в вузах появились два нововведения, из которых, правда, меня реально коснулось лишь одно. Нормой была объявлена ситуация, при которой юноша или девушка после средней школы как минимум два года работал (работала), желательно

на производстве, приобретал (приобретала) профессию, желательно связанную с физическим трудом, «школу жизни» и «закалку», а потом уже – вуз (мужская часть реально при таком раскладе попадала туда уже и после армии). Поступать в вуз сразу после школы разрешалось, но эти «незакалённые» должны были на двух первых курсах где-то работать и вечером учиться. Это было тяжело. Уже ближе к окончанию университета на русское отделение факультета на наш курс попала студентка, отставшая из-за психического заболевания; говорили, что она заболела, не выдержав такой двойной нагрузки. К счастью, некоторые специальности, включая структурную и прикладную лингвистику, с самого начала были освобождены от этой повинности, а в год нашего поступления ректор И.Г. Петровский добился полного освобождения от неё всего университета (хотя Хрущёв ещё был у власти).

Но в полной мере нас коснулось другое нововведение: на курсе 80% мест отводилось тем, кто имел два года производственного стажа. На отделение в тот год принимали 25 человек, следовательно, без стажа должны были принять всего пятерых. И ещё новость уже 1963 года: при зачислении стали учитывать оценки аттестата зрелости по профилирующим предметам (тем, по которым сдавали экзамены) и среднюю оценку аттестата, последнее означало, что при подсчёте баллов вводились и десятые доли, что усложняло процедуру. После свержения Хрущёва (во время которого мы были на втором курсе) его нововведения быстро отменили, но многие успели пострадать.

Из всех экзаменов, разумеется, главным и труднейшим казался экзамен по математике, который должен был идти первым. Некоторые из моих соучеников кончали математические или языковые школы, я же кончал самую обычную школу, но там была хорошая и очень требовательная к ученикам учительница математики Тамара Георгиевна Саввина. Попав к Ю.А. Шихановичу, о котором расскажу дальше, я почувствовал в его манере преподавания нечто знакомое. Две недели я зубрил математику, и вдруг за четыре дня до экзамена объявили, что порядок меняется, и первым экзаменом будет сочинение. Пришлось всё менять на ходу. За сочинение по Шолохову я получил «хорошо»; через несколько лет, будучи старостой курса, я смог посмотреть своё сочинение, оказалось, что в нём не было ни одной грамматической ошибки, но в нескольких

местах были подчёркнуты нарушения стиля, и экзаменатору не понравилось раскрытие темы. К устному экзамену меня готовила моя тётя, преподававшая русскую литературу на факультете журналистики МГУ. Женщине-экзаменатору мой ответ понравился, но один раз я вдруг назвал форму винительного падежа формой родительного, она сказала: «Ошибаетесь. Посидите и подумайте», – и куда-то отошла. Подумав, я ответил правильно и получил «отлично». Экзамен по английскому языку я сдал легко, и оставалась математика. Я очень волновался, но экзамен прошёл легче, чем я думал. Потом, когда нас начал учить Ю.А. Шиханович, он задавал каждому вопрос о том, за каким столом он сдавал математику. Оказалось, что я попал (разумеется, случайно) к самой либеральной из экзаменаторов, оценки которой Шиханович в наименьшей степени считал показательными. Случайно повезло!

У меня было 19 баллов из 20 плюс приличный, хотя и не идеальный аттестат (я не был медалистом). Шансы казались хорошими, и я, не отдохавший всё лето, поехал на последние дни перед учебным годом с матерью в Поленово. Вдруг 27 августа отец прислал телеграмму о том, что меня не зачислили. Мать немедленно отправилась в Москву, оставив меня на природе. Выяснилось, что меня обчислили на 0,8 балла. Я до сих пор не знаю и уже никогда не узнаю, случайно или намеренно это произошло. Мать, не опекавшая меня по мелочам, но умевшая действовать в сложных ситуациях, приняла меры. На филологическом факультете она почти никого не знала, но по совместительству преподавала на историческом факультете. Она пошла к своему декану, который сразу связался со своим коллегой на филфаке, и через два дня она сообщила мне по телефону: «Ты студент». Одновременно обчислили и ещё двух поступавших без стажа. В результате вместо пяти «школьников» приняли восемь, среди имевших стаж тоже приняли несколько больше, чем официально требовалось, явно в расчёте на отсеивание, что подтвердилось.

Среди поступивших «стажников» были и те, кто после восьмого класса переходили в вечернюю школу и устраивались на какую-нибудь (не физическую) работу (такая стратегия ещё и экономила год: в вечерней школе учились десять лет, а не одиннадцать). Но были и люди, заметно, на пять-восемь лет нас старше (на русском отделении факультета был даже один фронтовик). Им в дальней-

шем пришлось тяжелее всего, особенно из-за математики, ушли почти все. Лишь Алла Салий в параллельной английской группе дошла до окончания. И ещё Альберт Куприн как-то сумел до первой сессии перевестись на другое отделение факультета без математики (потом мы с ним работали в Институте востоковедения, где он защитил диссертацию о системе образования в Алжире). А среди восьмерых поступавших прямо из школы до финиша дошли семь, в японской группе под конец таких осталось четверо, больше половины состава. Лишь Лена Варламова, круглая отличница из Мурманска, не сдав в середине первого семестра коллоквиум Шихановичу, так расстроилась, что сама ушла и на следующий год, поставив крест на математике, заново сдала экзамены на романогерманское отделение, где тоже была отличницей.

Начались занятия, в мои студенческие годы факультет ещё был (до 1970 г.) в центре Москвы на проспекте Маркса (ныне Моховая). И здесь надо рассказать о том, что в то время представляло собой отделение структурной и прикладной лингвистики, где мы были уже четвёртым набором.

Многие науки в СССР тогда круто менялись, в том числе и лингвистика. Если в начале 50-х гг. в передовой статье самого первого номера журнала «Вопросы языкознания» писали, что в науке Запада господствуют «оскудение и маразм», то в середине 50-х гг. (даже не после доклада Хрущёва против «культы личности»), а ещё раньше) началось быстрое освоение западного опыта. Появилось тогда молодое поколение лингвистов вроде вышеупомянутого В.В. Иванова, которое прямо относило себя к структурной лингвистике, а она с 20-х гг. господствовала в Европе и Америке. Впрочем, многие импортные идеи, получившие тогда у нас распространение, оказывались не столь уж необычными: развитие науки и у нас во многом шло в том же направлении, хотя термин «структурализм» долго не был в ходу. Зато совершенно новым оказалось включение в науку о языке математических методов, и в западной лингвистике распространившееся ненамного раньше, чем у нас. При вышеуказанном состоянии умов так называемая математическая лингвистика быстро стала популярной. Выдвигалась молодёжь, которую поддержали и некоторые люди постарше, на филфаке МГУ это был Владимир Андреевич Звезгинцев, в 50-е годы за-

ведовавший кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания. Аргументом в пользу внедрения новых методов изучения языка было их «народнохозяйственное значение»: в СССР, как и в ряде других стран, как раз тогда началось активное развитие вычислительной техники, и скоро стало ясно, что проблема автоматической обработки информации – не чисто техническая: она требует участия и лингвистов. В том числе как раз тогда была выдвинута и сразу получила широкую известность идея машинного перевода, осуществление которой казалось очень быстрым делом. Под важную народнохозяйственную проблему в СССР легко можно было и получить деньги, и создать вузовскую специализацию.

В.А. Звегинцев привлёк на свою сторону видных учёных-естественников, установил контакт с механико-математическим факультетом МГУ, и, несмотря на противодействие части профессуры филфака, в 1960 г. был произведён первый набор на отделение, которое первоначально называлось отделением теоретической и прикладной лингвистики (ОТИПЛ). С самого начала подчёркивалось, что отделение готовит не только теоретиков, но и прикладников, которые на основе освоения строгих методик и математики смогут решать практические задачи, не решавшиеся традиционными филологическими методами. Название скоро было изменено: запротестовали другие кафедры факультета, поскольку получалось, что там не занимаются теорией. Поэтому появилось название: Отделение структурной и прикладной лингвистики (ОСИПЛ), мы поступали уже на него, и оно сохранялось до 90-х годов, когда вернули первоначальное. Годом позже, чем отделение, организовалась одноимённая кафедра, которую возглавил Звегинцев (до 1982 г.); эта кафедра сразу заняла обособленное положение на факультете, где многие преподаватели придерживались иных воззрений на природу языка.

Отмечу, что одновременно или чуть позже аналогичные отделения, чаще называвшиеся отделениями математической лингвистики, были созданы (иногда на филфаках, иногда на факультетах математики или кибернетики) и в ряде других городов: Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Новосибирске и др., а в Москве отделение было и в Институте иностранных языков, получившем потом отобранный у вуза имя М. Тореза как раз в наши студенческие годы. К

сожалению, большинство из них не дожило до наших дней. Мы общались друг с другом, помню две всесоюзные студенческие конференции в Москве (ещё одна была в Тбилиси, но я туда не ездил). На одной из конференций представители каждого из университетов рассказывали, что они изучают по программе, и обнаружилось, что программы у всех существенно разные.

Никакой сложившейся методики подготовки лингвистов тогда ещё не существовало. Не было образцов, в том числе и зарубежных. Надо сказать, что 60-е годы были в СССР временем, может быть, максимальной самодостаточности в науке, находившейся тогда у нас на подъёме. В XIX в. наивысшим достижением в России могло считаться повторение в Петербурге или Москве эксперимента, ранее осуществлённого в Берлине или Гёттингене; сейчас под флагом глобализации пытаются копировать самые разные западные образцы. Но тогда чаще всего советские учёные, независимо от их политических взглядов, считали, что мы во всём можем создавать традиции сами, ни на кого не оглядываясь. Показательно название, которое мы узнали на втором курсе: «Первая традиционная олимпиада по языковедению и математике». Её организаторы рассчитывали на создание традиции и не ошиблись: в 2023 г. проводится пятьдесят третья олимпиада (сейчас именуемая лингвистической), аналогов которой за рубежом не было. То же происходило и с лингвистическим образованием в целом, создававшимся в разных вузах по-разному (далее я буду специально говорить только про ОСИПЛ).

С самого начала ясны были два параметра: на отделении должна преподаваться математика, и на отделении не должна преподаваться литература, занимавшая большое место в образовании на других отделениях факультета. Кстати, подобные идеи высказывал ещё в 1901 г. замечательный учёный И.А. Бодуэн де Куртенэ, который предсказывал, что в XX в. лингвистическое образование отделится от филологии и от литературы, но включит в себя математику, а также социологию (последней в наше время в программе не было, что отчасти компенсировалось общественными дисциплинами). Также было ясно, что надо сохранить традиционно сильную сторону филфака: преподавание в большом объёме иностранных языков. Были и предметы, общие для факультета и которых нельзя было избежать: общественные дисциплины, военная подготовка (переводчики), физкультура (два первых курса дважды в неделю

приходилось ездить на неё на Ленинские горы, что отнимало много времени и сил, особенно для неспортивных студентов вроде меня). Но оставалось то, что составляло специфику отделения: лингвистика и прикладные дисциплины, а для математики не было очевидно, в каком объёме её следует преподавать.

Здесь не на что было опереться, и приходилось действовать методом проб и ошибок; к тому же ещё не сложился преподавательский состав, часто формировавшийся случайно. В течение первых нескольких лет (пожалуй, до пятого набора включительно) фактически шли эксперименты на людях, о чём я дальше буду говорить подробнее. Тут неожиданно для себя я употребил тот же эпитет, что в отношении политики Н.С. Хрущёва в области образования. Но при разных исходных посылках сходство есть, только он смотрел назад, а на кафедре стремились глядеть вперёд. Потом постепенно ситуация улучшилась, после проб и ошибок к концу нашего обучения получился некоторый оптимум (об этом я ещё скажу). Но среди студентов первых выпусков, в том числе наших сокурсников, многие профессиональные судьбы не сложились. А в нашей группе они могли бы не сложиться ещё у нескольких из нас, если бы не неожиданный подарок от Звегинцева – японский язык.

В первые годы на отделении были лишь группы основных западных языков, на нашем курсе, кроме японской группы, была параллельная английская. Языки преподавали сотрудники языковых кафедр факультета. Преподаватели попадались разные, японской группе очень не повезло с преподавательницей английского, который был у нас в программе вторым языком. Язык она знала, но была занята маленьким ребёнком, часто пропускала занятия, а когда приходила, откровенно показывала, что если все мы азы языка уже знаем, то она не понимает, чему нас учить. Для япониста английский язык необходим, но все мы учили его в школе и / или у частных преподавателей, а не на факультете. Но в параллельной группе «англичане» были сильные, особенно преподававшая на старших курсах Л.Н. Натан, работавшая на факультете не одно десятилетие. Наш же набор оказался первым с восточным языком.

Япония, ещё недавно бедная страна, в 60-е годы уже демонстрировала «экономическое чудо» и привлекала всеобщее внимание. В.А. Звегинцев посчитал, что раз эта страна активно развивается в экономике и технике, то автоматическая обработка информации на

японском языке, а в перспективе и машинный перевод с этого языка могут быть актуальны. Может быть, он думал и о том, что разработка структурных методов на материале языка, не входящего в «европейский стандарт», может быть полезна для лингвистики, но публично об этом в наше время не говорилось. Сразу отмечу, что в действительности всё оказалось не так. В нашей группе никто не стал прикладником. После нас японские группы создавались ещё три или четыре раза: в 1970, 1977 годах и один или два раза в 80-е годы. Судьбы не всех их выпускников я знаю, но в прикладной лингвистике никто из них известности не получил, зато оттуда вышли известные лингвисты: С.А. Старостин, В.И. Подлесская, О.А. Мудрак. Зато систему японско-русского машинного перевода создала Зоя Михайловна Шаляпина, учившаяся на курс моложе нас на аналогичном отделении в Институте имени Тореза. Я был знаком с ней со студенческих лет, тогда она осваивала теорию языка и прикладную лингвистику (там и там потом добилась успехов), но никак не была связана с японским языком, которым увлеклась позже, выучив на курсах иностранных языков. Одна из причин такого несовпадения была в том, что, как я ещё буду говорить, прикладные предметы оказались у нас самой слабой частью преподавания, а в Институте иностранных языков им учили лучше.

До университета я почти ничего не знал про японский язык, а Япония меня привлекала не больше других азиатских стран. Мне в голову не приходило, что у меня в программе может оказаться такой язык. И лишь придя на факультет за два дня до начала занятий, я обнаружил в расписании этот предмет, о котором никто меня не предупреждал. Как шло распределение по группам, я до конца не знаю. Говорили, что японскую группу предполагалось собрать из всех, кто не учил в школе английский язык (английская группа целиком состояла из студентов, уже его знавших). Но таких оказалось много меньше половины, и японскую группу расширили, в том числе за счёт тех, кого зачислили в студенты в последний момент, как меня. Возможно, именно потому, что меня обсчитали, я получил японский язык, который с самого начала был первым языком со значительным количеством часов. Подарок судьбы!

На факультете японский язык не преподавался, для этого имелся Институт восточных языков при МГУ (позже Институт стран Азии

и Африки). Кафедра обратилась туда. Для кафедры японской филологии ИСАА, которую незадолго перед нашим поступлением на многие годы возглавил И.В. Головнин, первоначально занятия на филфаке казались чем-то дополнительным и излишним (вряд ли тогда там могли предполагать, что из этой группы выйдут будущие преподаватели кафедры). Поэтому к филологам отправили не штатного преподавателя, а Кирилла Евгеньевича Черевко, тогда кончавшего аспирантуру и готовившегося к защите диссертации. Впоследствии Черевко станет первым у нас японистом, защитившим две докторские диссертации по историческим и филологическим наукам. Но тогда он был очень неопытен, его отношения с нами не сложились, и после первого курса он у нас уже не преподавал. Со второго курса нас взял и вёл вплоть до выпуска Владимир Сергеевич Гривнин, которому все мы очень благодарны. Время от времени у нас вели те или иные курсы и другие преподаватели со стороны ИСАА: Л.А. Стрижак, Л.А. Лобачёв, Н.Г. Паюсов. И ещё был военный перевод.

Звегинцев мало вникал в то, как преподаётся у нас язык, однако следил за тем, чтобы представители другого факультета не читали ничего, кроме практических курсов. В.С. Гривнин однажды предложил ему включить в программу читавшиеся в ИВЯ теоретические курсы японского языка, но Звегинцев отклонил это, разрешив Гривнину лишь прочесть спецкурс по японской культуре, много нам давший. Конечно, между тем, что нам подавалось в лингвистических курсах, и теоретическими основами курсов ИСАА существовал большой разрыв, который я сразу ощутил. Мы учились ещё по учебнику Н.Г. Иваненко, Я. Катаяма и А.Г. Рябкина (учебник под редакцией И.В. Головнина в годы нашего студенчества только готовился), отражавшему уже казавшиеся старомодными идеи Н.И. Конрада и его жены Н.И. Фельдман. (обоих мы в студенческие годы издали видели, но не могли с ними познакомиться; с Фельдман, правда, я имел дело в дни, когда хоронили Конрада, но это было уже в аспирантуре). Впрочем, однажды я обнаружил первое связующее звено: так случилось, что в один и тот же день П.С. Кузнецов, о котором я буду дальше говорить, в курсе введения в языкознание и К.Е. Черевко на языковом занятии упомянули одно и то же имя ранее мне не известного Е.Д. Поливанова. Но Поливанова давно не было в живых, а как сейчас? Впервые с лингвистической

работой, касающейся японского языка, я столкнулся уже на втором курсе, когда вышла книга И.Ф. Вардуля «Очерки потенциального синтаксиса японского языка». Имя автора мне ничего не говорило, но я сразу же понял, что в Москве есть человек, занимающийся японским языком как лингвист, и мне надо бы у него поучиться. И, действительно, я стал через несколько лет его учеником, но не в МГУ, а в аспирантуре Института востоковедения АН СССР: тогда Вардуль уже не преподавал (позже он мне говорил, что преподавать язык не любит).

Но чтобы дойти до аспирантуры, надо было одолеть полный курс преподававшегося в течение девяти семестров «венценосного», по выражению заместителя декана М.Н. Зозули, предмета отделения – математики. В первые годы, в том числе и для нас, этот курс был очень большим. За основу брался курс механико-математического факультета, кое-что (например, геометрия) сокращалось, зато курс математической логики был полнее, чем соответствующий курс для студентов-математиков, не специализирующихся по данному предмету. Кафедра логики и взяла над нами шефство. Главным здесь был Владимир Андреевич Успенский, тогда совсем молодой (родился в 1930 г.), но уже известный математик, ученик А.Н. Колмогорова, перед самым нашим поступлением защитивший докторскую диссертацию. Его роль на отделении в первые его годы была очень велика. Он не только составлял программы по математике, но во многом определял и всю программу учебных предметов на отделении. У нас он (в отличие от других курсов) ничего не читал, но постоянно к нам приходил, вёл беседы, вместе с Ю.А. Шихановичем принимал экзамены. Он также сыграл большую роль в организации первых олимпиад. За нами, как и за другими курсами, он постоянно следил вплоть до его разрыва с кафедрой, который произошёл за год до окончания нами университета. У меня с Успенским установились хорошие отношения, и мы общались более полувека, до самой его смерти в 2018 году.

Были у нас и другие преподаватели. Математический анализ вёл Ю.Б. Кудрявцев, вероятно, хороший математик, но не преподаватель по своему складу, к тому же логик по специализации, не слишком хорошо знавший предмет, который взялся преподавать (иногда он половину лекции доказывал теорему, потом обнаруживал, что доказывает неверно, и начинал сначала). Экзамены ему я кое-как сдал, но

ненужная неприязнь к математическому анализу осталась на всю жизнь. Спустя много лет, в 1984 г. я встретил Кудрявцева в ВАКе, где я получал диплом доктора наук, а он в тот же день диплом профессора. Теорию вероятностей читал А.Д. Вентцель, часто бывавший на кафедре (женат он был на студентке отделения Саше Раскиной, учившейся старше нас), он, как и Успенский, много занимался олимпиадами (впоследствии Вентцель с семьёй переехал в Новый Орлеан). Но и от его курса у меня в голове почти ничего не осталось.

Главной же фигурой (не только в математике) на кафедре тогда был Юрий Александрович Шиханович (1933–2011); студентка предшествовавшего нашему курсу Тоня Лычагина говорила, что это «наша суть». Одни студенты его боготворили, другие люто ненавидели, и никого он не оставлял равнодушным. Карьера исследователя у него не сложилась, он так и не защитил диссертацию собственно по математике, но в годы, когда он читал нам курсы, он стал кандидатом педагогических наук по методике её преподавания. Тогда он всего себя отдал преподаванию с той же страстностью, с которой он впоследствии отдаст себя прославившей его диссидентской деятельности (в наши студенческие годы она только начиналась).

Объяснял свои курсы (мы слушали у него введение в математику, алгебру и три семестра логики) Шиханович очень чётко и понятно, по крайней мере, так всегда казалось мне (как я писал выше, к сходной манере я привык ещё в школе). Но требовательность была запредельной, превышавшей привычные нормы того времени. За посещаемостью тогда, конечно, следили больше, чем сейчас, к тому же студенты ещё обычно не работали в учебное время, что ныне стало привычным. Но только Шиханович отдавал всего себя контролю над посещением его лекций. Однажды я это испытал на себе. Всего раз за пять лет я пропустил его лекцию, присутствуя на жюри одной из первых олимпиад, где распределялись премии. После этого Юрий Александрович не пустил меня на следующую лекцию. Я пошёл к декану А.Г. Соколову, тот даже мне посочувствовал, но сказал, что не хочет быть формалистом и официальной бумаги о моём допуске писать не будет. Я рассказал это Шихановичу, в ответ он сказал: «А я имею основания быть формалистом», и неделю не допускал меня до своих занятий. А когда в связи с всесоюзной студенческой конференцией на неделю официально отменили занятия на отделении, он единственным из преподавателей велел всё равно ходить на его лекции.

Но страшнее всего были его зачёты и экзамены. Тогда почти в каждом семестре по математике (только по ней) фактически каждый курс надо было сдавать дважды, сначала в виде зачёта, потом в виде экзамена. На первом курсе ещё в ходе семестра было два коллоквиума, фактически тоже зачёта, только не по всей программе, а по пройденному до того; один из них подкосил бедную Лену Варламову. Зачёты и экзамены длились целый день: если кто-то решил задачу, ему давалась следующая, а Шиханович подсаживался к другому студенту, и так несколько раз. Если же задачу решать не удавалось, то через какое-то время студент должен был по новой её рассказывать. И важно было не только решить все задачи, но уметь рассказать решение логически строго. Чуть что, и Юрий Александрович произносил страшную фразу: «Я Вас не понимаю». Её он любил говорить и в других ситуациях, например, во время чьих-нибудь научных докладов; рассказывали, что один математик, которого Шиханович допёк таким заявлением, сказал: «Дальше я буду говорить только для тех, кто меня понимает». Безусловно, он хотел отучить студентов от гуманитарных привычек и заставить их думать строго математически, в этом был смысл, но не такими же варварскими методами надо было этого добиваться!

В результате многие сдавали зачёт по 5–7 раз, потом столько же раз экзамен, многие не смогли сдать какой-либо из курсов вообще и отчислялись. Сам Шиханович времени абсолютно не жалел, проводил либо на филфаке, либо на мехмате (иногда мы сдавали и на Ленинских горах) каждый день с утра до позднего вечера, бывало, что он не успевал выяснить отношения со студентами до закрытия факультета и вёл их на круглосуточно открытый Центральный телеграф.

Первоначально я считал методику Шихановича естественной и правильной, в том числе потому, что других не знал. Но постепенно становилось ясно, что принимать экзамены так, как делал он, было нельзя. Конечно, это помогало отсеивать совсем слабых, на первом курсе среди «стажников» были явно случайные люди. Но и у далеко не слабых студентов многократные сдачи одного курса вели к крапивнице, спазмам сердечных сосудов и пр.

Шиханович был, как сейчас модно говорить, харизматической личностью, и многие его искренне любили, в том числе были такие и в нашей группе. Но к четвёртому курсу возникла чётко выраженная оппозиция к нему. Слабейшая часть обеих групп тогда уже

была отсеяна, и в оппозиции задавали тон многие из потенциально самых сильных студентов, точнее, студенток. В том числе получилось так, что в неё вошло большинство их тех, кто поступал на ОСИПЛ прямо из школы. Они заслуженно привыкли быть в числе первых, но Шиханович им выше троек обычно не ставил, и то их получали после больших хлопот и волнений.

Взрыв произошёл в восьмом семестре (июнь 1967 г.). Экзамен по исчислениям, как и предшествовавший ему зачёт, был невероятно труден, и отчаявшиеся студентки из обеих групп пошли просить у ректора разрешения ограничиться зачётом, прихватив и меня. У меня личного конфликта с Шихановичем не было (мне как-то удавалось всегда сдавать ему в первый день), но девушек было жалко.

Мы зашли в кабинет И.Г. Петровского на проспекте Маркса (у него в двух зданиях МГУ было по кабинету), и оказалось, что там, кроме него, академик А.Н. Колмогоров (мы его сразу узнали по портретам). Мы выпалили нашу просьбу, говорить в основном пришлось мне. Петровский неопределённо сказал, что разберётся, а Колмогоров, активно участвовавший в разговоре, помнится, отреагировал на фамилию Шихановича: «А, это тот, который написал целую книжку про то, что можно изложить на одной странице». Речь шла об изданной перед этим его учебной книге «Введение в современную математику», излагавшей то, что он читал нам в первом семестре. От разговора осталось впечатление: Петровский (его я видел ещё раз через год, когда он мне вручал диплом) – человек серьёзный, но Колмогоров на порядок ярче и значительней (может быть, это совпадает с известной формулировкой «талант и гений»). Так же о них пишет и В.А. Успенский в воспоминаниях. Больше я никогда Колмогорова не видел. Поход имел такой результат: в ту сессию что-то менять уже было поздно, но в следующую, последнюю для нас сессию Петровский повелел считать экзамен по последнему курсу Шихановича – теории автоматов факультативным (я всё-таки его сдавал). А по исчислениям я сдавал экзамен через три дня после похода к ректору. Шиханович, надо отдать ему должное, не делал различий между студентами в зависимости от отношения к нему и, прогоняв меня по всему курсу целый день, в июньских сумерках поставил «отлично».

К сожалению, иной была реакция студентов. Единственный раз за пять лет наша группа раскололась. Странники Шихановича особенно резко реагировали на меня как на предателя. Одна девушка из нашей группы сказала мне по телефону (помню дословно): «Володя, не звони мне больше, я не хочу с тобой разговаривать». Но время лечит, и с осени отношения понемногу восстановились.

А в преподавании математики как раз в это время на отделении стали происходить изменения. Произошёл конфликт двух Владимиров Андреевичей. Надо было утверждать новые учебные планы. В.А. Успенский предложил ещё расширить преподавание математики, а В.А. Звегинцев, наоборот, решил несколько сократить «вещноценный» предмет, отдав часы лингвистическим дисциплинам. Об этой борьбе Успенский подробно написал несколько лет назад в своей книге «Труды по нематематике», но надо учитывать позиции обеих сторон, а Звегинцев не оставил воспоминаний. Конфликт окончился победой Звегинцева, после чего Успенский надолго прервал отношения с кафедрой, а мехмат расторг договор с факультетом, забрав большую часть преподавателей, но оставив филфаку Шихановича (на мехмате его не очень любили и рады были избавиться).

В последний наш год Юрий Александрович вёл все математические курсы на отделении, но это продолжалось недолго. Он считал себя теперь единственным представителем «настоящей» науки на кафедре и конфликтовал со Звегинцевым. В зимнюю сессию, вскоре после Нового года, студентка параллельной группы Алла Змиевская (тогда уже Скворцова) и я разговаривали со Звегинцевым, и он сказал: «Скоро мы с Шихановичем распрощаемся». Но к весне вмешался неожиданный фактор: Шиханович подписал коллективное письмо в защиту математика-диссидента А.С. Есенина-Вольпина (с этого началось его собственное диссидентство). Тогда у нас наступил последний семестр, когда лекций уже не полагалось, поскольку время отводилось на написание диплома. Но Шиханович продолжал читать что-то, уже факультативно, желающим, в том числе и мне. Помню, как на одно из занятий он принёс и поставил перед собой статуэтку Дон Кихота. Против Шихановича были руководство и профессура филфака, не любившие отделение,

а мехмату надо было разбираться со своими преподавателями, подписавшими то же письмо, и легче было отдать на съедение уже «чужого» «подписанта». Звегинцев, ранее желавший распрощаться с Шихановичем, теперь ради чести кафедры должен был его защищать, в его защиту выступил и я, не по идейным причинам, а скорее из той же жалости, которая заставила меня за год до этого выступить против него. Разумеется, силы были неравны, и Шихановича уволили. Для преподавания математики нашли совсем новых людей.

Дальнейшая судьба Шихановича широко известна. Он начал активно заниматься диссидентством, дружил с А.Д. Сахаровым, дважды сидел (суды над ним совпали с моими самыми длительными поездками в Японию, и я читал про него в японских газетах). В новую эпоху карьеры он не сделал, одно время состоял при своём друге С.А. Ковалёве в аппарате комитета Верховного Совета по правам человека, а потом вернулся в преподавание математики лингвистам, только не в МГУ, а в новом вузе – РГГУ, где сформировался соответствующий факультет, и там работал до конца жизни. К старости он стал вести себя заметно тише.

О новых учебных планах ОСИПЛ я скажу дальше, когда дойду до преподавания у нас лингвистических дисциплин. Здесь хочу поговорить о том, что нам дала математика. Я, как и все выпускники нашей группы, никогда не применял её на практике (хотя кое-что из курсов Шихановича помню до сих пор). И всё-таки я не жалею о потраченном на неё времени (разве что на курсы Кудрявцева и Вентцеля). Я отверг, в конце концов, экзаменационные подходы Шихановича, сторонником диссидентов никогда не был, но за то, что он учил нас ясно мыслить, я ему благодарен. Уже в Институте востоковедения я столкнулся с тем, что многие люди, даже с учёными степенями, встают в тупик, когда их просят ответить на вопрос, требующий одного из двух ответов: *Да* или *Нет*. Вместо однословного ответа они начинают долго говорить и повторять одно и то же. Тут я сразу вспоминал Шихановича, отучившего нас от этой сбивчивости.

Однажды в 1995 г., когда я уже был заместителем директора Института востоковедения, меня пригласили в качестве третьей стороны на обсуждение спорной докторской диссертации не по моей теме, далёкой от лингвистики. Диссертант пришёл в сопровожде-

нии своей жены, по профессии психиатра. Вердикт был положительным, и психиатр в благодарность начала давать характеристики присутствующим, которых не знала. Мне она сказала: «У Вас не совсем гуманитарное образование». Так что что-то от математики на ОСИПЛ у меня осталось, и я оцениваю это положительно.

Но, конечно, для многих моих сокурсников с Шихановичем стали ассоциироваться не только математическая логика, но и всё преподаваемое нам. Он, конечно, не был «сутью» отделения, но противовеса ему не было, кроме разве что лучших преподавателей иностранных языков, у нас это был В.С. Гривнин. Но готовить из нас должны были лингвистов, а с преподаванием лингвистики были сложности.

Но прежде несколько слов о занимавших значительную часть нашего времени общественных дисциплинах. О них могут быть разные мнения, но я о некоторых из них вспоминаю хорошо. В первом же семестре стоял курс политэкономии капитализма, то есть разбора «Капитала». Это была высокая наука, которой нас учил Г.М. Гуткин, знавший сочинения Маркса очень хорошо. Большое уважение вызывал преподаватель истории партии Н.М. Рахманов, потерявший зрение на войне; он отличался и великолепной памятью на факты, и полемическим даром: спорить с ним на равных было трудно. Философские курсы вёл О.В. Лармин, не вызывавший такого уважения, но, во всяком случае, эрудированный и умевший говорить. Исключением были политэкономия социализма (по ней я получил одну из немногих четвёрок в дипломе) и научный коммунизм. Их преподаватели менялись, и любой вариант оказывался неудачным. Теперь я понимаю, что сами эти предметы были искусственными, чего всё-таки нельзя сказать ни про марксистскую философию, ни про «Капитал», а история КПСС, конечно, не особая наука, но иное название для российской истории XX века, читаемой в советском духе.

Среди преподавателей-лингвистов первыми, с кем мы сразу же столкнулись, были два уже немолодых профессора Пётр Саввич Кузнецов и Тимофей Петрович Ломтев. Кузнецов читал курс введения в языкознание, позже он прочёл нам курсы фонологии и диахронного (исторического) изучения русского языка, курс Ломтева назывался «Современный русский язык». Обоим я посвятил главы в книге «Языковеды, востоковеды, историки», изданной в 2012 г., здесь кратко пересказываю то, что там написано.

Нам до поступления казалось, что преподаватели принципиально нового отделения должны быть молодыми, весёлыми и энергичными (каким и был, например, В.А. Успенский). Но Кузнецову было 64 года, а на вид он казался ещё старше. Ломтев был на семь лет моложе, но был плешив и внешностью больше напоминал завмага или председателя колхоза, чем профессора. Это не совпадало с нашими представлениями. Оба были уже давно докторами и профессорами, но в отличие от большинства их коллег относились к отделению хорошо, как и к новым методам в целом. Кузнецов вообще перешёл с кафедры русского языка на новую кафедру, а Ломтев остался на кафедре русского языка. Но людьми они были совершенно разными во всех отношениях, хотя когда-то они вместе начинали в 1931–1933 гг. в группировке «Языкофронт», которая одновременно боролась с «буржуазным индоевропеизмом» и со школой академика Н.Я. Марра (причём тогда лидером группировки был Ломтев).

Но к 1963 г. Пётр Саввич, безусловно, превосходил как учёный своего старого знакомого. Он был знаменитым фонологом, диалектологом, историком языка, автором научных книг и учебников, одним из главных представителей Московской фонологической школы. Фактически он с 30-х гг. занимался структурным анализом языка, главным образом русского (хотя до конца 50-х гг. такие, как он, не называли себя структуралистами); поэтому ему легко было прийти в 60-е гг. к открытому структурализму.

Кузнецов поражал нас исключительной эрудицией. Он приводил факты самых разных языков от саамского до суахили, показывал, как надо говорить на вдохе. Именно в связи с этим он впервые рассказал нам о Е.Д. Поливанове, который описывал говорение на вдохе у швейцарских ряженых. По фонологии и по истории русского языка он, казалось, знает всё. Но он мог рассказать что-то интересное и об истории, о литературе и даже о математике (что нас тогда, когда все мы ещё почитали математику, особенно привлекало). Известно было, что он дружит с А.Н. Колмогоровым (как я позже узнал, с раннего детства).

Если вслушаться в то, что рассказывал Пётр Саввич, то можно было узнать много нового. Немолодой и уже не очень здоровый профессор был переполнен идеями и знаниями, которые хотелось передать дальше (когда при одном из экспериментов Н.С. Хрущёва

учёным запретили совместительство, то Кузнецов ушёл из Академии наук и остался в МГУ, где ему было интереснее). Но слушать его было трудно. При уже многолетнем к тому времени преподавательском опыте хорошим лектором он так и не стал: по несколько раз повторял одну и ту же фразу или мысль, уходил в сторону, задерживался на частностях, в результате мы обычно за семестр проходили менее половины курса, а остальные темы приходилось прорабатывать самостоятельно. В отличие от Шихановича он не следил за посещаемостью своих лекций, и к концу семестра обычно на них обычно бывало менее половины студентов. Каюсь, и я их иногда пропускал, особенно в тот семестр, когда оказался в курсовом комсомольском бюро, заседания которого совпадали с фонологией. Писал он, кстати, много чётче, чем говорил. И всё же в мою голову фонологические идеи Московской школы вошли прочно и сохраняются там даже сейчас, когда наука о звуках речи ушла далеко вперёд.

Ещё Кузнецов был живой историей советского языкознания, рассказывая о многих событиях, участником или свидетелем которых он был. От него мы узнали имена Е.Д. Поливанова, Н.Ф. Яковлева, Л.И. Жиркова, В.Н. Сидорова и других. Сам он с 20-х гг. активно участвовал в нашей лингвистической жизни, в схватках и дискуссиях. Обо всём этом он рассказал в своей «Автобиографии», которую он писал как раз в годы, когда с нами занимался; впоследствии я подготовил её сокращённое издание, вышедшее в 2003 году. Непрактичный, мягкий и рассеянный в бытовой сфере (любил говорить, что дома гвозди забивает жена), чуждавшийся политики, он всегда был принципиален и боевит в важных для него научных вопросах. На лекциях он давал учёным, о которых рассказывал, не только научные, но и этические оценки. Студентов, особенно студенток, он жалел, двоек не ставил, даже если ответ того заслуживал, но и пятёрку получить у него было нелегко.

При нас Кузнецов всегда выглядел болезненным. Помню, как за год до окончания нами МГУ он на защите дипломов предшествовавшего курса вдруг сказал: «Вот возьмите меня, я стою уже одной ногой в могиле, но по-прежнему интересуюсь всем новым в науке». Умер Пётр Саввич незадолго до нашей защиты дипломов, в марте 1968 г.

П.С. Кузнецова мы не всегда внимательно слушали, но, безусловно, уважали. Иначе было с Т.П. Ломтевым (1906–1972). Сам он был из «выдвиженцев» и при любви к теории до конца жизни не мог преодолеть пробелов в культуре, сохранившихся с крестьянского детства. Нас поразило, что профессор русского языка пишет с ошибками. Как часто бывает в подобных случаях, студентки стали записывать «перлы» профессора, который, например, мог написать красивым почерком на доске *дерзский* по аналогии с *французский* или сказать: «Давайте сделаем этот квадрат подлиннее».

В то же время профессор увлекался семиотикой и математической логикой, упоминал А. Чёрча и Р. Карнапа, любил красивые слова *денотат* и *исчисление* и даже П.С. Кузнецова упрекал в излишней традиционности. И в том, что он говорил, как я сейчас понимаю, могло быть серьёзное содержание. Особенно это я однажды почувствовал несколько лет назад. Среди его рассуждений за ним записывали такое: «Просто выстрел на улице ничего не означает. А вот выстрел стартера значим, потому что противопоставлен его отсутствию». Так Ломтев объяснял двойность знака. Первая фраза выглядела абсурдной, и я как-то рассказал об этом абсурде знакомой преподавательнице РГГУ, писавшей в это время учебник семиотики. И она привела этот пример совершенно всерьёз, выразив в примечании мне благодарность за него. Лингвистка, никогда не выдавшая Тимофея Петровича, извлекла из его смешных на вид слов научно ценное содержание.

Но для нас на содержание высказываемого накладывались внешность и голос профессора, и отделить форму от содержания было трудно. Контакта не получилось. Было непонятно, почему такой человек может работать на ОСИПЛ. Помню, как студенты самого старшего на тот момент четвёртого курса устроили с нами встречу, желая помочь советами, вела встречу Саша Раскина (жена А.Д. Вентцеля). Речь шла о разных преподавателях, и видно было, как обе стороны избегали фамилии Ломтева. Потом Лена Самсонова (Анохина) не выдержала и задала вопрос прямо в лоб. Старшекурсники постарались перевести разговор на другую тему: говорить плохо о профессоре было неудобно, а хорошего сказать было нечего.

Позже я понял, зачем Ломтев был нужен кафедре. С одной стороны, кафедра, находившаяся во враждебном окружении, искала на факультете союзников. А Ломтев, незадолго до нашего поступления бывший секретарём партбюро факультета, был более всех благожелателен к «новой» лингвистике. С другой стороны, Ломтеву было неуютно на кафедре русского языка (с которой его впоследствии выжили), не принимавшей его новаций, и хотелось рассказать понимающим студентам о том, что его переполняло. Но, конечно, симбиоз, продолжавшийся два или три года, не мог быть прочным, и на втором курсе современный русский язык дочитывала уже А.И. Кузнецова.

Ещё раз я встретился с Ломтевым незадолго до его смерти: он был главным редактором журнала «Филологические науки», куда я решил принести публикацию по диссертации. Он меня помнил и статью напечатал.

Говоря о первом курсе, нельзя не упомянуть общий для всех отделений курс латыни, который читала М.Н. Славятинская. Если у К.Е. Черевко неопытность в преподавании была очевидна, то тут казалось, что перед нами уже опытный педагог, а она была совсем молода, и мы были первыми её студентами. Читала она исключительно интересно. А уже на третьем курсе она предложила читать нам факультативно греческий язык, которого не было в программе. Сейчас такой бескорыстный подарок трудно и представить. Марина Николаевна осталась одной из последних живущих моих преподавателей, и я с ней не потерял контактов до сих пор.

Со второго курса нас взяла под свою опеку бывшая аспирантка Звегинцева Ариадна Ивановна Кузнецова, пропустившая большую часть предыдущего года из-за рождения дочери. Она работала на кафедре полвека и даже не особенно внешне изменялась. У нас она читала два больших курса «Структурные методы изучения языка» и «Современный русский язык» (продолжение курса Ломтева). Надо сказать, что курсы при, казалось бы, разном содержании были похожи друг на друга. Состояли они главным образом из рефератов разных работ американских дескриптивистов и наших лингвистов структурного лагеря. Человеческий контакт с ней у нас был, видно было, что она много читала и очень старалась, но слушать по много раз про анализ дистрибуции фонем и морфем в никому не извест-

ных индейских языках США было скучновато. Как-то Надя Вайсфельд (Браккер) из параллельной группы спросила Ариадну Ивановну: «Опять будете рассказывать про язык нутка?». И тени прошлого присутствовали. На одном из первых занятий Кузнецова говорила об идеях очень тогда знаменитого датского лингвиста Луи Ельмслева, живого классика (вскоре, ещё в наши студенческие годы, он умер). И после занятия Таня Тихомирова (будущая Гуревич) воскликнула: «Так это же Ломтев!». Сходство с Ломтевым не способствовало интересу к новым для того времени идеям в лингвистике.

На третьем курсе мы познакомился с Себастианом Константиновичем Шаумяном (1914–2007), тогда легендарной личностью. Первым в СССР, чуть ли не в сталинское время, он провозгласил себя структуралистом, критиковал «традиционную науку», невзирая на лица, но был членом партии и не забывал про марксизм, когда это было нужно. Работал он в Институте русского языка, где заведовал сектором структурной лингвистики, и в штатный состав кафедры не входил. Говорили, что он внешне похож то ли на пашу, то ли на духанщика. У нас он прочёл три курса, включая «Семиотику», но все они сводились к изложению его «аппликативной модели». Описание модели он издал как раз перед знакомством с нами и обязал нас купить его книгу. Модель была сложная, с большим числом заковыристых терминов вроде *эписемион* и *аднектор*. Кое-как мы в ней разбирались три семестра, а Люся Нечаева даже увлеклась и написала у Шаумяна диплом. Он был рад тому, что, наконец, модель получила применение к неиндоевропейскому языку – японскому. Шаумян был известен за границей, и статью Нечаевой по диплому перевели на французский язык (первая публикация нашей группы за рубежом). Потом она, однако, занялась другим. А Шаумяна я ещё не раз видел на конференциях и учёных советах, пока в 1974 г. он вдруг не подал заявление на выезд. От него этого ждали меньше всего. Шаумян переехал в США, где прожил ещё более тридцати лет, продолжая развивать аппликативную модель; уже глубоким стариком он в 90-е годы приезжал в Москву, и я его видел.

До четвёртого курса мы не имели дела с самим В.А. Звегинцевым. К тому времени уже сложилась традиция: заведующий кафедрой не только не читает на младших курсах, но и не общается с

младшекурсниками. Правда, к этому добавилось то, что, когда мы были на первом курсе, Владимир Андреевич перенёс первый инфаркт и долго отсутствовал. Поэтому даже в лицо я его узнал не скоро. На четвёртом курсе и в первом семестре пятого курса мы прослушали у него два предмета: историю языкознания и теорию языкознания. Из этих курсов я первый сразу запомнил очень хорошо (не догадываясь, что с 1993 г. этот курс на ОСИПЛ / ОТИПЛ перейдёт ко мне), а второй прошёл мимо памяти. Сейчас ничего не могу восстановить, кроме отдельных случайных фраз. И дело было не только в сидевшем во мне с детства интересе к истории. Звегинцев много занимался и историей, и теорией, но по-настоящему силен он был именно в истории языкознания (не только в изучении прошлого науки, но и в оценках научной современности).

Звегинцев был суховат, подчёркнуто официален в обращении, ко всем обращался (как и Шиханович) только по имени-отчеству. Некоторые его аспирантки не могли ему простить того, что он не видел в них женщин. Он не любил длинных разговоров и формул вежливости, говоря: «Всё это вздор». Слово *вздор* он употреблял часто, что усиливало его сходство с Советником в «Снежной королеве» Е. Шварца (эту роль я в школьные годы играл в драмкружке). Он всячески старался показать, что для него не существует различий между студентами, и избегал с ними общения за пределами чисто учебно-деловой сферы.

На занятиях по истории языкознания он заставлял нас досконально изучать изданную им очень содержательную хрестоматию по истории языкознания с фрагментами сочинений многих лингвистов XIX и XX веков. Все мы читали домашнее задание, а потом Звегинцев заставлял кого-нибудь из студентов рассказать тот или иной текст. В заключение он подводил итог. В голову это укладывалось хорошо (по крайней мере, в мою). Когда я начал вести этот курс на ОСИПЛ, я ориентировался на традиции, заложенные Владимиром Андреевичем. Но времена меняются. И мои резюме часто занимают больше времени, чем рассказы студентов.

Повлиял на меня Звегинцев и в оценках тех или иных лингвистов и направлений. А главное, он приучил меня к историческому подходу в оценках лингвистов, отучивал от догматизма, учил, что у каждого серьёзного учёного можно найти нечто ценное, но истина неисчерпаема и до совершенства дойти невозможно. И в мои

студенческие годы, и позже многие мои знакомые лингвисты фанатично увлекались какими-нибудь яркими личностями и их идеями, считали, что наконец-то найден путь к истине, самым мощным было влияние И.А. Мельчука, он не бывал на факультете, но дух его постоянно витал. Но Звегинцев привил, по крайней мере, мне, здоровый релятивизм. Я его причисляю к моим главным учителям, пусть я не так уж много с ним общался и тогда, и потом.

Были и некоторые другие курсы по лингвистике, некоторые из них читали уже молодые выпускники отделения. Борис Городецкий из первого выпуска, тогда аспирант, читал спецкурс по типологии. Другая аспирантка из первого выпуска, Ольга Крутикова (Кривнова) на нашем пятом курсе вела уже большой предмет «Математические методы в лингвистике». Она была очень серьёзным фонетистом (перед этим я иногда ей ассистировал в опытах, которые она ставила, когда писала диплом), но тогда ещё имела мало преподавательского опыта (позднее за почти полвека работы на кафедре она подготовила много учеников). На одном или двух занятиях её подменяла Аня Поливанова (дальняя родственница Е.Д. Поливанова), почти наша сверстница, учившаяся курсом раньше, а теперь уже ставшая аспиранткой. И сразу скучноватый курс заблестел и засверкал. Аня (простите, давно уже Анна Константиновна) – прирождённый преподаватель. Как учёный она сделала меньше, чем исключительно работоспособная О.Ф. Кривнова, но она воспитала не одно поколение лингвистов в МГУ, позже в РГГУ, некоторое время работала и в школе, где разрабатывала новые методики. Но тогда она только-только начинала, мы слышали её лишь эпизодически, развернулась её деятельность уже после нас. Ещё был странный курс «Семантическая структура слова», читавшийся сотрудницей кафедры З.М. Мурыгиной. Слушая её, мне иногда казалось, что я сплю и во время сна слушаю лекцию по лингвистике: встречаются знакомые термины, но всё столь же бессвязно, как во время сна. Ещё запомнилась через каждые две минуты повторяемая её фраза: «Вот в этом-то всё и дело!».

Но, конечно, надо учитывать и факультативные курсы, которые могли дать очень много, но на которые не всегда хватало времени. Попадал я на них лишь эпизодически, зато познакомился с двумя знаменитыми, тогда молодыми лингвистами А.А. Зализняком и А.Б. Долгопольским. Зализняк работал всю жизнь в академическом Институте

славяноведения, а на факультете тогда лишь вёл факультативно санскрит и семитские языки. Как раз в это время он защитил диссертацию, за которую ему сразу присвоили степень доктора (тогда, как и сейчас, это было редкостью). Я старался ходить хотя бы на санскрит, каждое занятие было исключительно интересно, но всерьёз заняться санскритом времени не хватало. В последний студенческий год, когда потеснили «венценосную» математику и Зализняк уже начал вести на факультете большие курсы, я тоже старался на них ходить, но опять регулярно это делать не получалось. Глядя на Андрея Анатольевича, я всегда его немного побаивался, хотя он был вполне демократичен: чувствовал, что со слишком большой величиной имею дело. Но в 1982 г., готовясь к защите докторской диссертации, я всё-таки рискнул обратиться к нему, и он стал моим оппонентом.

Арон Борисович Долгопольский, работавший в Институте языкознания, не только вёл факультативы по компаративистике, но и выступал несколько раз на научном студенческом обществе факультета с лекциями о современном состоянии проблемы языкового родства. Эти лекции особенно хорошо отложились в моей памяти. Многого почти дословно помню до сих пор. В это время Долгопольский вместе с В.М. Илличем-Свитычем начал впервые не только в нашей, но и в мировой науке изучение древнейших родственных связей языков, более дальних, чем, например, индоевропейское родство. Иллич-Свитыч тоже вёл на филфаке факультативный курс, но так получилось, что я лишь слышал о нём, но ни разу его не посетил, а летом 1966 г. Иллич-Свитыч в 32 года погиб, попав под грузовик, и я так его не успел даже узнать в лицо. На занятия Долгопольского тоже не хватало времени, но, когда я поступил в аспирантуру, он предлагал мне заняться под его руководством сравнением японского языка с диалектами Рюкю. Я некоторое время колебался, но всё же не решился уйти в это всё-таки совсем новое для меня дело. Позже этим займётся и получит выдающиеся результаты С.А. Старостин, но в наши студенческие годы он был ещё школьником, уже показывавшим высокие результаты на наших олимпиадах (в 1970 г. учившаяся в моей группе Таня Корчагина станет его первым преподавателем японского языка). А с Долгопольским я в 1973 г. полторы недели общался на вечерних военных занятиях в МГИМО, но спустя три года он уехал, не в США, как многие, а действительно в Израиль, где умер совсем недавно, летом 2012 г.

Но общепризнанным неофициальным лидером молодой советской лингвистики тогда считался И.А. Мельчук, в отличие от А.А. Зализняка и А.Б. Долгопольского никогда не появлявшийся на факультете, где со многими он тогда уже переругался. Но какая-то часть студентов находила путь к нему, в нашей группе это удалось Лене Саямонович (Струговой). Я лишь издали его видел, естественно, за пределами факультета, иногда слышал его выступления, но никогда не решался познакомиться с ним поближе. Лишь один раз на втором курсе я с ним разговаривал при не совсем обычных обстоятельствах. Курсовое комсомольское бюро решило провести диспут «Филфак и XX век», кто-то посоветовал пригласить Мельчука, которого я тогда лично ещё не знал. Вместе с одной студенткой русского отделения мы, недолго думая, пошли в Институт языкознания, он нас встретил во дворе на Волхонке, памятном мне с раннего детства (там в Институте истории до 1960 г. работали мои родители), разговаривал очень непринуждённо, рассказал анекдот про М.Н. Зозулю и пообещал прийти, предупредив, что у нас могут быть неприятности. Не знаю, что было бы, но вопрос решился сам собой: партбюро идею диспута не поддержало, и он не состоялся. В те же годы восходила и звезда Ю.Д. Апресяна, я читал с большим интересом его выходившие книги, однако с ним самим познакомился уже после окончания МГУ.

За год до нашего окончания программы, как я уже говорил, изменились: математику урезали, А.А. Зализняк начал читать большие курсы, включая «Введение в лингвистику». В это же время А.Е. Кибрик и А.И. Кузнецова начали на кафедре экспедиционную деятельность, которая вскоре стала там одним из главных направлений. Но мы, к сожалению, были уже слишком большими для этого, наша студенческая жизнь уже кончалась. Мы оказались последним курсом, из которого никто не ездил в экспедиции. Потом я всегда испытывал комплексы перед теми, кто учился после нас. Из них почти все, кто как-либо зарекомендовал себя в лингвистике, имели экспедиционный опыт и умели изучать язык в полевых условиях. А я так и остался «книжным червём».

Ещё одним курсом, который трудно причислить куда-то, была психология, которую читал известный учёный, профессор Николай Иванович Жинкин (1895–1979). Он не работал на кафедре, но

много лет был связан с МГУ и дружил с В.А. Звегинцевым, а филфак любил: помню, как в конце 70-х гг., он, уже очень старый и больной, продолжал состоять там в диссертационном совете, и диссертанты должны были его привозить на заседания, что для него было важно. Нашим девушкам он напоминал К.И. Чуковского, лекции читал несколько в сказовой манере, показывал, как говорят обезьяны. Он был нам симпатичен, мы чувствовали, что имеем дело с крупной личностью (его труды получили международную известность, и их изучают до сих пор: мне недавно пришлось оппонировать в РГГУ по диплому, посвящённому его наследию). Но курс Николая Ивановича мало был связан со всеми остальными, и полученные от него знания нам как-то некуда оказалось пристроить.

Наконец, самой тяжёлой частью обучения (не в смысле сложности экзаменов) были прикладные курсы. Читали нам программирование, вычислительные машины, акустические методы и что-то ещё. Помню очень милую Л.Д. Панову, дочь крупного специалиста по вычислительной технике, Ю. (отчество забыл) Барабошкина, сотрудника лаборатории Чудновского. Бороду Чудновского помню, а сами курсы провалились куда-то из сознания. Кроме всего прочего, читали их люди, далёкие от преподавания, обычно инженеры лаборатории при кафедре.

Главным прикладником на кафедре в первые её годы считался Юрий Михайлович Отряшенков, он был и заместителем Звегинцева. Я на первом курсе ещё был полон энтузиазма в отношении машинной лингвистики и пошёл к Отряшенкову, он меня принял и дал мне одну экспериментальную тему по фонетике, потом другую. Ему надо было укорениться на кафедре, и он искал «своих» студентов, из которой задержалась в машинных (фонетических) делах одна Ольга Кривнова (тогда ещё Крутикова) благодаря своему упорству и умению работать самостоятельно, без оглядки на старших. Я же, хотя и промучался с Отряшенковым три курса, но чем дальше, тем больше чувствовал, что делаю не то. И вина в том, как я позже понял, лежала на обеих сторонах. У меня интерес к машинам был лишь модным поветрием, а по заложенным с детства привычкам я был всё же гуманитарием. Вообще отмечу, что очень многие студенты ОСИПЛ разных лет, в юности желая уйти подальше от профессии родителей, потом приходили к ней. Самый яркий случай – учившийся на три курса моложе нас сын сценариста Павел

Лунгин, который окончил отделение, но потом подался в сценаристы, а затем и в кинорежиссёры. И вышеупомянутая Саша Раскина, дочь писателей, очень яркая девушка, не прославилась в лингвистике, зато прекрасно сделала русский вариант популярной американской книги о языке. А у меня был ещё один недостаток: я плохо умею работать руками (за что меня 42 года пилила жена).

Но, как я стал постепенно понимать, и Отряшенков не разбирался в вопросах, над которыми заставлял меня думать. Позже мне рассказали, что Отряшенков, претендовавший на роль акустика и фонетиста, был на самом деле инженером-электронщиком, далёким от всего, чем занимались кафедра и лаборатория при ней. Но, открыто презирая гуманитариев, он думал, что они всё равно не разберутся. Но разобрались, вскоре после моего разрыва с ним он исчез с кафедры, его место заняла переехавшая из Казани в наши студенческие годы Л.В. Златоустова, очень серьёзный фонетист (и именно лингвист, а не инженер). При ней экспериментальные исследования на кафедре развернулись по-настоящему, она руководила ими много лет до смерти в 2011 году. Конечно, много делала и Кривнова. Может быть, при них я смог бы что-то сделать, но Отряшенков отвратил меня от машин и от фонетики. Расстались мы с ним в конце третьего курса со скандалом, он поставил мне «отлично» за курсовую, но когда он дал мне ещё одну явно не лингвистическую работу на летние каникулы, а я стал возражать, то он мне сказал, что учёного из меня никогда не выйдет. Я расстроился, но мать разъяснила мне, что не надо слушать каждого, с кем я столкнусь. С тех пор я Отряшенкова не видел; сейчас, как мне рассказывали, он уже умер.

Надо было искать что-то другое, и я пошёл к Александру Евгеньевичу Кибрику (1939–2012). Я запомнил его с первого курса. Его называли заместителем Звегинцева, хотя, он, конечно, не занимал тогда эту должность, так как ему было только 24 года (выглядел он старше своих лет). Но уже в те годы он стал одной из ведущих кафедральных фигур, «небожитель» Звегинцев поручал ему всю текучку. У нас он прочёл только один чисто прикладной курс, причём секретный: описание темы по обработке информации, которую он вёл на кафедре по заданию военных (по этой теме до того, на втором курсе мы также проходили практику). Тематика курса не была интересной, но благодаря личности читавшего он проходил живее

остальных аналогичных (сходная ситуация была с Поливановой). Курсовые же у него писали по разным темам. Мне он сначала предложил тему, не пахнущую Отряшенковым, без ручной работы, но тоже экспериментальную: что-то психолингвистическое. Я с трудом её выполнил. Он поставил «пятёрку», но сказал слова, которые помню до сих пор и спустя много лет пересказал на его поминках: «Для эксперимента Вы не созданы. Возьмите какую-нибудь теоретическую тему, лучше такую, где высказывались разные точки зрения, сопоставьте их, разберите и предложите своё». Позже я понял, что он отлично разбирался в людях. К экспериментам я больше и близко не подходил. Тему диплома я предложил сам, Кибрик её одобрил, и впервые у меня всё получилось успешно, на основе диплома я опубликовал две статьи.

С Александром Евгеньевичем, всю жизнь проработавшим на кафедре, я много контактировал и позже. Увы, главным делом его жизни стали экспедиции, а я, как и вся наша группа, туда не попал. Но у меня с ним было много и других точек соприкосновения, особенно в последние двадцать лет, когда он заведовал кафедрой, именно при нём я стал на ней систематически преподавать. Кафедра при нём развивалась очень успешно, и его уход 31 октября 2012 г. – невосполнимая потеря.

Из-за сложностей с написанием курсовых я за все студенческие годы не выступил ни на одной научной конференции. Но я часто бывал и иногда делал доклады (скорее реферативного характера) на заседаниях научного студенческого общества (НСО), где выступали и «взрослые» вроде А.А. Зализняка и А.Б. Долгопольского, а также В.В. Шеворошкина, расшифровавшего карийский язык и сделавшего два доклада об этом. Тогда Шеворошкин был очень популярен (расшифровал язык, как Шампольон), но потом его слава как-то пошла на спад. Потом он тоже эмигрировал, и я в 1994 г. его встретил в США в Мичиганском университете в Энн-Арборе, где к тому времени упразднили лингвистику (а нам Ариадна Ивановна рассказывала об Энн-Арборской школе), а Шеворошкина оставили читать магистрантам-советологам старославянский язык для их общего развития. Чувствовал он там себя, как мне показалось, неуютно. Как член НСО, я со второго курса имел возможность пользоваться научным залом библиотеки МГУ.

А студенческих конференций, как я уже отмечал, при мне было две. Не делая докладов, я участвовал в их организации, во второй раз в 1967 г. отвечая за экскурсию во Владимир и Суздаль, ездил для этого в Первый автобусный парк на Краснопресненской набережной (потом на его месте построили Белый дом). Во Владимире и Суздале я был впервые, помню, как в церкви в Кидекше грузинские студентки поднялись на хоры и пели что-то очень мелодичное. Их спросили, как называется песня, они сказали: «Наша любимая партия». А одна из докладчиц из Риги выступала по-английски, тогда для внутрисоюзных конференций это казалось нонсенсом. Студентка объяснила, что английский язык она знает лучше, чем русский. С коллегами из других городов (по крайней мере, у меня) тогда контактов не сложилось (иначе было позже, когда я участвовал в конференциях молодых востоковедов), зато установились контакты с лингвистическим отделением Института имени Гореза, в том числе с уже упоминавшейся Зоей Шаляпиной.

Много мне дала и упоминавшаяся олимпиада, инициатором которой был учившийся двумя курсами старше нас Алик (Альфред) Журинский (1938–1991). Это была легендарная личность на факультете: он один не боялся Шихановича и мог ему противостоять. Ему первому наряду с Зализняком пришла в голову идея давать школьникам задачи, иллюстрирующие те или иные лингвистические явления. Для решения задач на материале самых разных, но заведомо не известных школьникам языков надо проявить логику и умение мыслить. В число задач входила (и входит до сих пор) также задача №0, в которой требовалось перевести определённый текст на любой известный школьнику язык; так проверялось и знание школьных языков, и полиглотизм. Как и в других случаях, не ориентировались на западные образцы, которых тогда не было; наоборот, по образцу нашей олимпиады потом начали устраивать нечто подобное и в других странах.

Первая олимпиада прошла в феврале – марте 1965 г. и целиком состояла из задач, придуманных Журинским. Её подготовку держали от студентов в секрете, и нам сообщили о ней за полторы недели до первого тура, когда студенты должны были помогать в оргделах, в том числе разносить афиши по школам. На мою долю выпал знаменитый Колмогоровский, как его называли, математический интернат в Кунцево. Ехал туда с афишей при ощущении

того, что еду в храм науки. В некоторые школы, включая ту, где сам учился, я тогда и несколько лет после этого заходил и агитировал. Уже перед второй олимпиадой я отправился в школу на Октябрьском поле, на другой стороне Окружной железной дороги. Туда было проще всего идти через железнодорожные пути. Когда шёл домой, на одном из путей стоял товарный состав. Я собрался идти обратно, но тут сзади меня встал другой состав. Несколько минут мне пришлось стоять в темноте между поездами, настроение было невесёлым. Через какое-то время всё же дорога освободилась.

На самом туре мы должны были дежурить в аудиториях, раздавать условия задач, следить за порядком и собирать решения. Начиная со второй олимпиады составление задач стало коллективным делом, и я постепенно включился в деятельность задачной комиссии. Уже на старших курсах мне было также поручено закупать по московским книжным магазинам книги для премирования победителей.

Олимпиады выявляли ярких людей, благодаря им многие могли поступать на отделение не наобум, как мы, а целеустремлённо. Я уже упомянул про Серёжу Старостина, который, кроме всего прочего, был потомственным полиглотом. Был и другой вундеркинд-полиглот Саша Лерман; помню, как он написал нулевую задачу на старофранцузском языке, и я искал по факультету тех, кто мог бы её проверить. Замечу, что проверить текст по-старофранцузски оказалось легче, чем аналогичный текст по-татарски, хотя на романо-германском отделении моего курса учились две татарки: выяснилось, что они дома говорили на родном языке, но никогда на нём не читали, и не писали, и не знали орфографии. Старостин и Лерман тогда дружили и вместе ходили на «взрослые» семинары, но потом судьбы их сложились по-разному. Старостин после ОСИПЛ быстро достиг огромных успехов в науке (не только в японистике, но в изучении множества языков) и жил в Москве. Лерман же не стал поступать на отделение, увлёкся музыкой, выступал в ВИА, а в двадцать с чем-то лет отбыл в США, где занялся-таки лингвистикой, но здесь не прославился так, как Старостин. А в итоге оба не дожили до шестидесяти. Забавно, что в календаре знаменательных дат в Гугле годовщину смерти Лермана отметили, поскольку он был солистом музыкальных групп, а Старостин такой чести не удостоился, хотя и был членом-корреспондентом РАН. Рано ушёл из-за мозговой опухоли и Журинский, работавший много лет в секторе африканистики Института языкознания.

Со студенческих лет помню и других победителей и призёров первых олимпиад, пусть не полиглотов, но отличавшихся способностями. Из них победитель третьей олимпиады Миша Алексеев – потом заместитель директора в Институте языкознания, а с призёром первой олимпиады Олей Столбовой я работал до недавнего времени в Институте востоковедения. Но были и печальные судьбы: победитель первой олимпиады Володя Терентьев, исключительно талантливый школьник, так и не вышел из состояния вундеркинда, в науке не преуспел и даже пытался покончить с собой; его спасли, но он нестарым умер от рака. И бывало так, что человек, пришедший в МГУ после успеха на олимпиаде, потом не осиливал обучение или после окончания исчезал с горизонта. Опыт решения задач всё-таки не всегда помогает освоиться с тем, что бывает нужно лингвисту. Это в какой-то степени праздничная сторона его деятельности, а для черновой работы это не всегда помогает. А многие олимпиадники потом нашли в жизни иные пути, как тот же П. Лунгин; встречал я участников олимпиад и в Институте востоковедения среди историков и экономистов. В организации олимпиад, прежде всего, их задачей части, я продолжал участвовать и тогда, когда не был связан с МГУ; изредка занимаюсь олимпиадами даже сейчас.

С поисками будущих студентов была связана и моя деятельность на старших курсах, когда я работал в приёмной комиссии и беседовал с поступающими на отделение. Некоторые из них потом поступили, кое-кого я вижу и сейчас. И даже не будучи связан с отделением после его окончания, я иногда по старой памяти и в аспирантские годы заходил в приёмную комиссию и беседовал с абитуриентами.

Кафедра в те годы занимала целый отсек (семь или восемь комнат) в том здании, где тогда находился экономический факультет, а с 1970 г. факультет журналистики; раньше в отсеке была университетская поликлиника. Большую часть занимала лаборатория, царство Отряшенкова, позже Златоустовой; были также кабинет Звегинцева и две комнаты для занятий. Сам филологический факультет располагался на другой стороне улицы Герцена (теперь Большая Никитская), там проходило и большинство занятий. В 1970 г. его территория пошла под расширение ИВЯ (затем ИСАА), занимавшего при нас лишь противоположное крыло здания.

Помню, как проходя с нами по истории лингвистики тему «Младogramматики» (направление немецкой лингвистики конца XIX в.), В.А. Звегинцев показал пальцем в окно на другое здание и сказал: «А вот там это направление до сих пор господствует». Конфликт кафедры и остального факультета как бы переходил и в территориальную разобщённость.

Этот конфликт при нас уже был в разгаре и продолжался много лет. Звегинцев и часть его людей считали остальной факультет находящимся на уровне науки XIX века, а многие из другой части факультета видели в ОСИПЛ «потрясение основ» и «следование модным течениям» (Ломтев был исключением, поэтому Звегинцев допустил его к нам). Были тут и идейные причины, которые я (и, как мне кажется, большинство из нас) тогда не ощущал. Но уже перед самым нашим окончанием произошла история с Шихановичем (дело Синявского и Даниэля, из-за которого несколько раньше бурлил факультет, ОСИПЛ не затронуло), некоторые противники кафедры подводили под конфликт «идеологическую базу». Зато было очевидно научное противостояние, а кроме того, даже мы чувствовали во многих случаях личные причины (в наши дни любят всё сводить к противостоянию «тоталитаризма» и «демократии» с однозначными оценками, забывая, что ещё были живые люди со своими амбициями и чувствами). Тогда я, конечно, был патриотом своего отделения и своей кафедры. Не могу не вспомнить слова полковника на военных сборах уже в мои аспирантские годы: «Каждый из вас должен быть патриотом своего рода войск». А сейчас понимаю, что в таких случаях не бывает ни во всём правых, ни во всём виноватых.

Например, на кафедре (безусловно, по инициативе самого Звегинцева) был прямо «антикульт» академика В.В. Виноградова. Академик в те годы продолжал заведовать кафедрой русского языка, но был уже болен и не часто бывал на факультете (умер он в мой второй аспирантский год), я видел его только издали. Я слышал о нём ещё до поступления в МГУ, он был очень знаменит и именит, но на кафедре все его ругали. Помню, как З.М. Мурыгина с торжеством рассказывала, как новая секретарша декана А.Г. Соколова, не зная Виноградова в лицо, крикнула, когда в приёмную вошёл академик: «Алексей Георгиевич, к Вам какой-то пенсионер». Пусть Виноградов мог считаться в те годы консерватором в

науке, но научный уровень его и Мурыгиной был несопоставим. Впрочем, Виноградов не оставался в долгу. Почти единственное моё личное о нём воспоминание: на моих глазах он подвёл к М.Н. Зозуле какого-то молодого человека и сказал: «Вот, Михаил Никитич, наш новый аспирант из Венгрии, к счастью, не по структурным методам».

И лишь за несколько месяцев до смерти Звегинцев рассказал мне, в чём был их конфликт. Задолго до нашего поступления в МГУ Виноградов, вообще склонный к коллекционированию, попросил Владимира Андреевича, знакомого с известным искусствоведом А.М. Эфросом (к 1963 г. давно умершим), привести его посмотреть своё собрание картин. И Эфрос при Звегинцеве обнаружил в коллекции академика «фальшаки». Этого Виноградов, по мнению Звегинцева, никогда не простил свидетелю его унижения, выгнал Звегинцева из Института языкознания и пытался выгнать из университета. И заведующие кафедрами с тех пор не выносили друг друга, а это передавалось и их подчинённым. Сейчас я понимаю, что оба они были, при всей сложности характеров, большими учёными, но компромисса не нашли. Недаром, как В.А. Успенский пишет в воспоминаниях, во всём далёкий от него Виноградов произвёл на математика при единственной встрече очень яркое впечатление.

Обособленность кафедры, усиливавшаяся территориальным обособлением и специфическими занятиями части её сотрудников, прежде всего лаборатории, распространялась и на часть студентов. Многие из них (больше, пожалуй, не на нашем курсе, а на старших) считали себя студентами не столько факультета, сколько отделения. Для части студентов постоянным местопребыванием была кафедра, где, если не было занятий, они сидели на столах или подоконниках и курили. Помню слова нашего однокурсника Игоря Ривкина об Ане Поливановой: «На кафедре каждая паркетинка её знает». У меня всё же такого чувства не было, домом для меня был весь факультет, а дружил я со студентами самых разных отделений и моего, и соседних курсов, пусть науки, которыми мы интересовались, были разные. Бывали у нас и общие занятия: не только физкультура и военное дело, но и, например, занятия французским языком в качестве третьего. В нашей группе были и лингвисты, и романо-германцы, там я подружился с Катей Гениевой (позже ди-

ректор Библиотеки иностранной литературы); в отличие от английского языка нам попался хороший преподаватель Т.Н. Громова, я могу на этом языке, по крайней мере, читать. Но главным, что меня сближало с остальным факультетом, была общественная работа. Я ещё со школьных времён привык думать, что без неё жить нельзя (теперь времена изменились). Была ещё одна причина: я трудно схожусь с людьми, а общественные дела давали возможность находить поводы для общения.

Общественная работа бывала и на кафедральном уровне: те же олимпиады, НСО. Но большая её часть шла на уровне факультета, иногда и всего университета. Правда, я мало вёл её на первом курсе, когда, перейдя от школьной к университетской жизни, испытывал трудности вживания. Но со второго курса я постоянно чем-то занимался, дважды был в курсовом комсомольском бюро, один раз в факультетском бюро, а в последний мой студенческий год оказалась старостой курса, выдвинула меня новый инспектор курса Г.Г. Виноград. Сыграло роль в назначении и то, что я благодаря общественной деятельности в той или иной степени знал на курсе каждого (что для студента ОСИПЛ было редкостью). В комнате факультетского комсомольского бюро я провёл, пожалуй, не меньше времени, чем на кафедре. Для меня, в отличие от некоторых других студентов (особенно в более поздние годы), не было различия между деятельностью по олимпиадам и НСО, с одной стороны, и комсомольской работой, с другой: всё было частью некоторого важного для меня целого. Уже в иные времена я оказался на конференции в главном здании МГУ, где не был много лет, там перед заседанием надо было в соседней комнате оставить пальто, и я вдруг понял, что нахожусь в бывшем помещении комитета комсомола МГУ, где когда-то не раз бывал. Сразу нахлынули воспоминания.

Тогда студенты активно вмешивались во «взрослые» дела вплоть до учебных планов и программ. На втором курсе я попал в бюро (бурное отчётно-выборное собрание шло через неделю после внезапного снятия Хрущёва, студенты отнеслись к событию по-разному, но оно всех подтолкнуло к общественному подъёму), где получил учебный сектор. Мы во главе с секретарём Юрием Беляевым сразу же занялись ни более, ни менее как составлением предложений по изменению учебных программ. Написали предложения

о том, что желательнее ввести, а что исключить, и понесли это в деканат. Декан даже собрал ради нас заведующих кафедрами. Это несколько напоминало 20-е годы, когда, как рассказывал (в том числе в автобиографической книге) мой отец, все программы вузов и техникумов проходили через студенческий совет. Но в 1964 г. времена были другие, и наши предложения (как я сейчас понимаю, довольно наивные), разумеется, ушли в песок. Но недовольство тем, что нам читают (больше не на ОСИПЛ, а на других отделениях), зрело, и вскоре мы затеяли уже мной упоминавшийся диспут «Филфак и XX век», из-за которого я познакомился с И.А. Мельчуком. Но диспут не разрешили, а наше бюро вызвали «на ковёр» в комитет комсомола МГУ. Излагать нашу точку зрения, как и позже в случае жалобы на Шихановича, в основном пришлось мне. Секретарь комитета Саша Шабанов отнёсся к нам милостиво, всё обошлось без взысканий, Беляева не сняли, только некоторые из членов бюро после этого разочаровались в общественной работе. В 90-е гг. мне пришлось встретиться (и опять в рамках общественной деятельности) и с Шабановым, и с Беляевым: первый одно время возглавлял Московскую организацию КПРФ, а второй мелькал среди национал-патриотов.

Потом мы то устраивали КВН с Институтом иностранных языков, где я тоже играл (проиграли), то ходили в деканат защищать представленных к отчислению студентов, этим я занимался и как староста курса. Тогда я усвоил немного циничную истину: если помогаешь всем, то тебя не послушают, а если среди, скажем, троих выбираешь для защиты одного, то можно добиться успеха. Но самым грандиозным мероприятием стала организация первого факультетского стройотряда в Пущине летом 1966 года. Стройотряды в МГУ были уже давно, но филфак как в основном женский факультет в этом не участвовал (бывала лишь «картошка», но как-то получилось, что наш курс на неё не съездил). Теперь решили создать и эту традицию, которая потом продолжалась несколько лет. Избрали командира отряда из студентов, прошедших армию, а комиссаром стала моя хорошая знакомая с русского отделения Лариса Бахурина. Это была очень интересная девушка с лингвистическими в то время интересами, но бросавшаяся в крайности: от лингвистики она потом ушла в социологию чтения, а после комсомольской деятельности кинулась в диссидентство (много мы с ней спорили), жизнь её в итоге сложилась не очень счастливо. Меня назначили ответственным за

учёт состава отряда. ОСИПЛ нашего курса, кажется, был представлен только мной, а тогдашний первый курс отделения захотел почти полностью отправиться на стройку. И вот их судьбы. Упомянутая О.В. Столбова, уже тогда очень серьёзная девушка, стала видным лингвистом, другая студентка, отличавшаяся большой бойкостью, оказалась секретарём МК КПРФ по идеологии, один из студентов из лингвистики ушёл сначала в пушкинисты, потом в равнины, а А.Н. Барулин создал второе в Москве лингвистическое учебное заведение – Институт лингвистики РГГУ. В Пущине научный центр тогда только строился, мы работали на установке бордюра на дорогах и на бетонировании подвала (помню, как будущий раввин, поскользнувшись, ногами обрушил целую стенку). У меня были всегдашние трудности с работой руками, но было весело. Я там приобрёл знакомых, с которыми общаюсь по сей день.

После Пущина в сентябре началось персональное дело студента романо-германского отделения Юры Рылова, который не поехал туда, представив фиктивную справку. Было ещё одно бурное собрание, описанное тогда в газете «Московский университет». Учился Юра хорошо, но вёл себя не совсем удачно и не пользовался симпатиями. Настроение собрания было довольно единодушным против Рылова, я тоже выступал против него. Проголосовали: исключить. Однако комитет комсомола МГУ, как перед этим не стал карать нас, так не стал и добивать Рылова: исключение заменили выговором. Рылов успешно кончил МГУ, и я несколько лет назад встретил его (сейчас уже покойного) в Воронежском университете, где он заведовал кафедрой в ранге профессора.

Другие из моей группы относились к общественным делам по-разному, но когда после четвёртого курса студентов-общественников решили премировать во время каникул поездкой в соцстраны, то из шестерых (к тому времени) отметили троих: Люсю Нечаеву, Лену Саламонович и меня. Девушек включили в группу, отправлявшуюся в ГДР, а я попал в Польшу, где три недели почти без денег (они были, но не было возможности их получить) бегали по Варшаве, Кракову, Вроцлаву и Познани в составе 25 человек. Организовано всё было плохо и со стороны начальницы группы, преподавательницы факультета, и со стороны поляков, и вот тут действительно нам пришлось заниматься самоуправлением. За два дня до отъезда, наконец, на нас свалилась некоторая сумма, и нашу женскую часть (22 из 25)

остановить уже было нельзя, все побежали в универмаги. А я просто не знал, на что тратить деньги. В составе группы были люди, потом получившие известность: вышеупомянутая Е.Ю. Гениева, теперешний редактор журнала «Иностранная литература» А.С. Ливергант, будущая зав. славянской кафедрой филфака Н.А. Ананьева и др. Это была моя первая заграница, всё было интересно, хотя, конечно, нашей группе хотелось побывать в Японии. Но студенты тогда туда не ездили, и мы смогли поехать в свою страну уже позже (я впервые в 1973 г.). Потом в ответ в Москву приехали польские студенты, с ними надо было тоже работать, но большинство из нашей группы оказались вне досягаемости, а я вместе с двумя студентками-полонистками отдувался за остальных, катая их по Москве-реке и второй раз за один год попав во Владимир и Суздаль. Помню, как польские девицы были разочарованы тем, что в церкви Покрова на Нерли внутри нет росписи. Я объяснял, что древние фрески не сохранились, в ответ было сказано: «Так можно же заново расписать!». Казалось, что у нас единый соцлагерь, но постоянно приходилось натывать на взаимонепонимание.

Так шла жизнь, потом в ней завиднелся конец. Встал вопрос о дальнейшей судьбе. Мне по всем привычкам и жизненным установкам хотелось заниматься научной работой, тем более что неприятности с Отряшенковым давно были в прошлом, а с дипломом у Кибрика всё шло нормально. Вероятно, я мог бы попасть в аспирантуру кафедры, но не хотелось отказываться от японского языка. Преподавать язык не хотелось тоже. Моя мать, как всегда, дала мудрый совет: идти нужно в аспирантуру академического Института востоковедения. Я уже знал, что там работает И.Ф. Вардуль, который интересовал меня со второго курса. Мать знала в институте многих, включая директора Б.Г. Гафурова, и в декабре 1967 г. я был вызван для беседы к заместителю директора и заведующему Отделом языков В.М. Солнцеву, уже после Нового года я пошёл к нему ещё раз и тогда познакомился с Вардулем. Неожиданно я узнал, что туда же собирается идти и Лена Саламонович, которую порекомендовал Вардулю его старый друг В.С. Гривнин. Я очень боялся перейти ей дорогу, поскольку мамины связи были сильнее, но Солнцев и Вардуль пообещали, что можно будет взять обоих, это потом и осуществилось.

Я занимался не только своим трудоустройством, но и трудоустройством других как староста курса и председатель студенческой комиссии по распределению. Лингвисты в основном нашли себе работу сами, хотя надо было отбиваться от плановых заявок из разных «почтовых ящиков», предлагавших неинтересную работу по информационному поиску. Труднее было, например, русскому отделению: до того его выпускников, включая москвичей, направляли в провинциальные школы, куда никто не хотел ехать; на нашем курсе, однако, Министерство просвещения от выпускников МГУ отказалось, и большинству давали свободный диплом. Мне приходилось сидеть на предварительном, потом на окончательном распределении. От принудительных направлений все, кажется, в итоге отбились, хотя не всегда сразу.

Тем временем раскручивалось дело Шихановича, в котором тоже пришлось участвовать. На мне оно не сказалось, исключая один неприятный разговор со Звегинцевым. Кафедра давала мне общую рекомендацию в аспирантуру, но не рекомендацию в аспирантуру кафедры, поскольку уже было известно, что я иду в Институт востоковедения. Кафедра выдвинула Колю Перцова, который учился на курс старше нас, но пропустил год по болезни и заканчивал с нами. Но деканат, всегда довольно злой на кафедру, вдруг не принял эту кандидатуру, начался очередной виток склоки. И тут неожиданно меня вызвал М.Н. Зозуля и предложил, как кандидату на диплом с отличием и общественнику, поступать в аспирантуру на кафедре. Это была какая-то игра деканата: хотели одновременно насолить кафедре и показать отсутствие дурных намерений. Я этого совершенно не ожидал и позвонил Звегинцеву посоветоваться. Никогда ни до того, ни после того он не был со мной так резок. Очень жёстко он велел не мешать Перцову и ни на что не соглашаться. Я был обижен, но приказ, естественно, выполнил, тем более что он соответствовал моим намерениям. Но бедного Колю тогда в аспирантуру так и не взяли. Он не пропал, сейчас он тоже доктор наук, однако места в аспирантуру кафедра в тот год лишилась, кажется, единственный раз за много лет.

Дни защит дипломов и госэкзаменов я с утра до вечера проводил на факультете, выполняя поручения инспектора курса. Диплом я защитил без проблем (на защиту приходил И.Ф. Вардуль). А вот единственный государственный экзамен по научному коммунизму

чуть не лишил меня красного диплома: мой ответ не понравился молодому экзаменатору (в том числе мы разошлись с ним в оценке тогда, в июне 1968 г. ещё начинавшихся событий в Чехословакии). Спасла меня Г.Г. Виноград, которая кинулась меня спасать и спасла. Так что хотя бы один раз моё участие в общественной работе мне действительно помогло.

1 и 2 июля 1968 г. мы получили дипломы специалистов по структурной и прикладной лингвистике с вкладышами, удостоверявшими прохождение курса японского языка. Осенью мы с Леной сдали экзамены в Институте востоковедения, и началась моя жизнь в этом институте, продолжавшаяся сорок четыре года.

Первый вариант этого раздела ранее печатался: Полвека в японоведении: сборник статей и очерков; МГУ имени М.В. Ломоносова. Филологический факультет. ОСИПЛ. Японская группа 1968 года выпуска. М., Моногатари, 2013.

В.М. Алпатов

ГЛАВА 3. 44 ГОДА В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Я проработал в Институте народов Азии / Институте востоковедения АН СССР / РАН, включая аспирантуру, 44 года: с 1968 по 2012. При мне институт возглавляли пять директоров: Бободжан Гафурович Гафуров (1908–1977), Евгений Максимович Примаков (1929–2015), Михаил Степанович Капица (1921–1995), Ростислав Борисович Рыбаков (1938–2020) и Виталий Вячеславович Наумкин (р.1945). Я же прошел в институте большинство карьерных ступенек: аспирант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, зав. сектором, зав. отделом, заместитель директора. Не достались мне только должности директора и главного научного сотрудника, но как раз их я получил в другом институте, куда пришел потом.

В 1968 году я окончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, о чём шла речь в предыдущем разделе. Здесь лишь повторю, что отделение (и ныне существующее) было создано в 1960 г. на волне, охватившей тогда наше общество всеобщей автоматизации и формализации разных сфер жизни, включая науку (теперь это называют компьютеризацией, но тогда такого слова ещё не было). В лингвистике это происходило в форме создания точных методов исследования и провозглашения независимости своей науки от всех других, исключая математику. Поэтому в нашей программе не было курсов по литературе, занимавших ведущее место на других отделениях филологического факультета, зато было много очень сложных математических курсов, отнимавших большую часть учебного времени. Многим не удавалось сдать математику вообще, и был гигантский отсев. В нашей группе из первоначальных 16 человек в итоге окончили университет семь. Вообще программа была разносторонней: помимо математики были лингвистические курсы и курсы, связанные с разного рода машинной лингвистикой (последние, правда, чаще всего читали плохо). Перед отделением стояли две задачи: подготовить специалистов по техническим проблемам, требующим анализа языка (автоматический поиск информации и очень волновавший тогда умы машинный перевод), и развивать новые, связанные с формализацией и математизацией, методы в лингвистической науке. Кроме того, сохранялась традиционно сильная

сторона филфака: большой объем преподавания иностранных языков. В результате выпускники отделения имели разнообразные профессиональные возможности: от программирования до преподавания языков. Всё это я воспринимал как должное и не очень представлял, что в Институте востоковедения, как будет рассказано дальше, лингвистика была другой.

Группа, в которую я попал, однако оказалась особенной. Это был четвертый набор на отделение. Заведующий нашей кафедрой В.А. Звезгинцев считал необходимым освоить достижения Японии как передовой страны в области прикладной лингвистики. Поэтому на нашем курсе, помимо английской группы, была организована японская (первая на отделении группа с восточным языком). Как часто в таких случаях бывает, реальность не совпала с замыслами: никто из нашей группы не пошел в прикладные области. Видимо, японский язык был для нас слишком интересен сам по себе, к тому же ему нас со второго курса на очень высоком уровне обучал Владимир Сергеевич Гривнин. В итоге большая часть группы (естественно, из тех, кто окончил университет) заняла в стране видное место в преподавании этого языка и переводческой деятельности (отсылаю к упомянутой книге «Полвека в японоведении»), а меня тянуло к научной работе, что, видимо, было наследственным. Моя мать работала в науке всю жизнь, и отец в не очень молодом возрасте пришел к этому же. Но они были историками, а я, воспитанный на лозунгах о «счастье трудных дорог», чувствовал, что в подобных науках мне будет слишком легко. Мне действительно очень нравилось решать сложные математические задачи, и я долго считал, что работа лингвиста должна быть чем-то похожим. И казалось интересным преобразовывать традиционно гуманитарное языкознание в точную науку. Такой был дух, в котором я был воспитан. Эволюция моих взглядов началась уже в Институте востоковедения.

На пятом курсе наступило время думать, что делать дальше. Я, вероятно, мог бы поступить в аспирантуру при кафедре, тем более что на факультете я был достаточно известен, но я понимал, что придется пожертвовать японским языком. Я попросил совета у своей матери, хорошо знавшей структуру академии. Она сразу сказала, что надо брать курс на академический институт, тогда называвшийся Институтом народов Азии (ему вернут старое название

Институт востоковедения через год после моего зачисления в аспирантуру). Она там знала многих, включая директора Б.Г. Гафурова, с которым при случае поговорила. Тот направил меня к Вадиму Михайловичу Солнцеву, тогда одновременно заместителю директора и заведующему Отделом языков. Он вызывал меня к себе и познакомил с японистом Игорем Фридриховичем Вардулем. Его я уже знал по работам, слышал на конференциях и понимал, что это единственный в Москве специалист по японскому языку, не чуждый тем методам, которым нас обучали в университете (конечно, был ещё А.А. Холодович, но он жил в Ленинграде, и я так никогда с ним лично не познакомился). Вопрос о возможном руководителе решился сразу. Игорь Фридрихович заинтересовался моим дипломом и пришёл на защиту. Мне было несколько совестно из-за того, что я как бы поступаю не без блата, тем более что я вскоре узнал о существовании конкурента: учившаяся со мной в одной группе Лена Салямонович (впоследствии Стругова) решила поступать туда же. Однако в итоге приняли нас обоих. Мы оказались первыми выпускниками отделения структурной и прикладной лингвистики в Институте востоковедения (потом их было в общей сложности в разные годы не менее трёх десятков). Из тех, с кем я там учился, правда, попал в этот институт ещё ныне покойный Альберт Куприн, который на первом курсе, не выдержав математики, сумел перевестись на романо-германское отделение с английским языком, а затем всю жизнь работал в Институте востоковедения, защитив диссертацию по системе образования в Алжире.

Тогда были три вступительных экзамена: по специальности, истории партии и английскому языку. Экзамен по специальности не был сложен: отвечал я И.Ф. Вардулю, который меня уже знал. На двух других экзаменах ни о каких знакомствах речи не было, и могло произойти что угодно, но оба раза мне повезло. На экзамене по истории партии важнейшее место в билетах занимали вопросы о партийных съездах, которых к тому времени было двадцать три. О каждом надо было уметь рассказать. Мне достался девятый съезд (1920), один из самых сложных, поскольку не был богат событиями. Но я помнил, что он произошёл во время мирной передышки между Деникиным и поляками, и на нем против линии партии выступала группа «децистов». Этого оказалось достаточно. Хуже пришлось с экзаменом по английскому языку, который я сдавал в

памятном для многих сотрудников Академии наук помещении на улице Вавилова, где располагалась академическая кафедра иностранных языков. В моем ответе были огрехи, и экзаменатор колебалась в решении, как меня оценить, чуть было не поставила «хорошо», но потом всё же вывела «отлично». На кафедру иностранных языков я затем уже в качестве аспиранта ходил в группу по немецкому языку, который я до того совсем не знал и решил выучить; я сдал потом кандидатский минимум по нему на «отлично», но, к сожалению, языком свободно не овладел. Тогда я не мог представить, что почти через полвека мне придётся подписывать множество документов кафедры, причисленной к тому времени к Институту языкознания, куда меня забросила судьба, и отвечать за переезд кафедры в другое помещение, поскольку с улицы Вавилова ее в 2015 г. выселил новый владелец дома.

А шёл 1968 год, который теперь часто считают, прежде всего, годом чехословацких событий. Конечно, и тогда о них говорили. Летом перед поступлением в аспирантуру я снова, как и перед зачислением в МГУ, жил в Поленове и столовался в доме отдыха, принадлежавшем тульскому оборонному заводу. Помню, как большую часть августа рабочие и инженеры стояли в очереди у почты, где торговали газетами, а вечером перед жилым корпусом образовывался целый клуб. И разговор был один: «Когда же введут войска в Чехословакию?» Это могло показаться странным: пока ввод войск готовился, ни по телевизору, ни в газетах такой вопрос не затрагивался, никто ничего не пропагандировал, но настрой дома отдыха был именно такой. А день 21 августа ознаменовался всеобщей радостью. Сейчас иногда полагают, что тогда чуть ли не все осуждали, хотя бы неофициально, действия нашей власти. Но в «клубе» лишь один человек попытался защищать чехов, и его быстро побороли большинством голосов. А в сентябре в дни экзаменов я в Институте народов Азии гулял по вестибюлю, ожидая зав. аспирантурой, и от нечего делать рассматривал уже не первой свежести стенды о Великой Отечественной войне. Под одной из фотографий, вероятно, была раньше подпись: «Жители Праги приветствуют воинов-освободителей». Теперь кто-то отодрал конец и осталось: «Жители Праги привет». Конечно, и в институте имелись разные точки зрения на события, но я понял, что соотношение их было не таким, как на тульском заводе.

В институте незадолго до моего прихода прошла кампания борьбы с «подписантами». Из института уволили сотрудника моего будущего отдела Ю.Я. Глазова и работавшего в другом отделе А.М. Пятигорского (оба затем эмигрировали), ещё несколько человек осудили на собрании и в стенгазете. Я этой истории не застал и до меня дошли только её отзвуки. Впрочем, забегаю вперед, скажу, что в последующие годы столь шумных кампаний не было, и обстановка в Институте востоковедения была много спокойнее, чем, например, на филологическом факультете МГУ, который сотрясали скандалы и в мою бытность студентом, и позже.

Но я тогда об этом думал мало. Меня зачислили в аспирантуру, и начался достаточно сложный период адаптации к новому для меня месту. И люди вокруг были новые, и режим работы другой, и научная атмосфера отличалась от той, к какой я привык в студенческие годы. Правда, уже последний семестр в университете был в некотором смысле переходным периодом. До того было жёсткое расписание с большим числом обязательных курсов, но в последнем семестре полагалось писать диплом, и я иногда работал в библиотеке, но чаще читал и писал дома; это необратимо изменило мою внешность. Всё детство я был очень худым, что вызывало постоянные причитания в семье. А утратив тонус, я вдруг стал полнеть и за полгода моя фигура навсегда изменилась. В институте же обязательного было мало, а я в первые месяцы ещё не выбрал тему диссертации (с Вардулем мы нашли ее не сразу), поэтому много времени проводил дома. В первый год лишь семинары по философии (были и лекции в Институте философии, но они оказались очень скучными, и я скоро перестал их посещать), закончившиеся в мае сдачей кандидатского экзамена. Как я уже упомянул, я занимался немецким языком. Время от времени бывали лекции сотрудников Отдела языков для аспирантов (больше других читал Ю.В. Рождественский), но не всегда регулярно.

Но, помимо аспирантских занятий, разумеется, время от времени были секторские, отдельские и институтские мероприятия. Надо было ходить на заседания Отдела языков и сектора тюркомонгольских и дальневосточных языков, куда я был приписан. Это бывало интересно, тем более что я на этих заседаниях постепенно знакомился с коллегами. Скучнее бывали строго посещавшиеся по требованию Гафурова общеинститутские мероприятия, чаще всего

юбилейные. Надо было присутствовать на заседаниях в честь восточных классиков вроде Ахмада Дониша (Таджикистан) или доброжелательных к СССР восточных политиков. Один раз я из-за этого получил строгий выговор от Вардуля (что бывало редко). Уже защитив диссертацию, я должен был в определенное время ехать на переговоры к Звегинцеву о чтении на его кафедре спецкурса, а в этот же час надо было присутствовать на 70-летию уже покойного Назыма Хикмета (с которым мы когда-то жили в соседних домах). Я всё же поехал в МГУ, за что был отруган (вероятно, Вардуль в свою очередь получил нагоняй от Солнцева).

Кроме того, надо было посещать комсомольские собрания, и сразу после моего зачисления мне сказали, что надо участвовать в общественной работе; тут всё мне уже было привычно со школьных, а потом студенческих лет. Меня зачислили в пропагандисты и дружинники. Как пропагандист я находился в подчинении у М.Р. Аруновой (с которой потом дружил десятки лет) и должен был в обеденный перерыв ходить на фабрику «Красная швея» и рассказывать работницам на рабочих местах о том, что происходит в мире. Сначала я ходил слушать опытных пропагандистов, потом политинформации доверили и мне. В 2013 году я от Отделения историко-филологических наук должен был проверять Осетинский институт языка и литературы, и там мы с профессором Гуриевым вспоминали «Красную швею», где когда-то выступали оба (я был аспирантом, он – докторантом). Среди политинформаторов были и известные учёные: А.Е. Бертельс, М.О. Османов и др. Тут могло быть и что-то интересное. Чуть позже я уже не только сам информировал, но и проверял качество других. Однажды я проверял кружок для дворников, который вел занимавшийся сикхами аспирант В. Козловский, впоследствии корреспондент Би-би-си в США. Хуже получалось, когда меня в год защиты диссертации повысили в ранге и доверили вести кружок по экономике социализма в типографии «Московской правды». Скучно было и мне, и слушателям, а я не смог найти нужного тона (а можно было его найти вообще?).

Дружиной заведовал Юрий Андреевич Смирнов, работавший со мной в одном отделе. Это был очень странный человек, совмещавший безусловную преданность науке с явной шизофренией: он всерьёз верил в то, что у него крадут идеи, и писал жалобы наверх. Ко мне он благоволил. Я ещё не был женат, и он давал мне советы о

выборе спутницы жизни: «Ты не бери умную, она будет тебя воспитывать, и не бери глупую, с ней будет скучно, бери среднюю!» Как я ещё буду упоминать, он оказался прав, и я часто вспоминал эти слова. Когда он умер, не любившие его соседи выбросили все его рукописи на помойку. А был ли какой-то толк в наших вечерних прогулках по переулкам между тогдашними улицами Кирова и Богдана Хмельницкого, не знаю. Иногда, правда, выступали понятиями при задержании. Но Смирнов гордился тем, что два сотрудника института, исполняя долг дружинников, предотвратили кражу детской коляски в «Детском мире», и ставил их в пример. Потом он уже не мог это делать: один из двоих (М. Занд) подал на выезд в Израиль.

В аспирантские годы мне запомнилась такая история во время дежурства в дружине. В отделение из ресторана доставили мертвеца пьяного немолодого человека; он ничего не соображал и не понимал, где находится, но, когда милиционеры начали его обыскивать, он изо всех сил стал сопротивляться и кричать: «Партбилет не отдам!» Оказывается, что у него во внутреннем кармане лежал партбилет, который когда-то полагалось всегда иметь «у сердца» (в то время традиция уже исчезала, даже мои родители ей не следовали). Ничего не понимая от водки, он сохранял рефлекс. Ещё история, связанная с дружиной (уже начало 80-х). Поздно вечером мы с напарником закончили дежурство, нас выпустили из дежурной части и заперли за нами дверь. Вдруг появляется мужик и начинает стучать руками и ногами в запертую дверь. Мы решили посмотреть, что будет. Он долго стучал, наконец, высунулась голова милиционера и последовал диалог. «— Ты чего? Отпустили, и иди домой. — А я хочу узнать, зачем меня били». В дружину я ходил до самой перестройки.

Ещё, разумеется, были совхоз и овощная база; в совхоз я поехал впервые в начале второго года аспирантуры и познакомился там с видными учеными института: Л.Б. Алаевым, Л.И. Рейснером, Г.К. Широковым. Бригадир в совхозе на слова о том, что наш отдел занимается языками, сказал: «Язык, а чего его изучать? Он у всех красный». Использовали нас и как агитаторов перед каждыми выборами. Помню, как мне велели быть готовым к рассказу о приближавшемся дне 23 февраля, и я честно предложил рассказать об этом

пожилому избирателю, который весьма удивленно на меня посмотрел и отказался; позже я узнал, что это был генерал. Посылали нас и в подшефную школу в соседнем переулке, где я, пользуясь случаем, агитировал за участие в очередной Олимпиаде по языковедению и математике, проводимой моим отделением МГУ (тогда олимпиады, о которых я уже рассказывал, были для меня основным постоянным связующим звеном с отделением и кафедрой). Потом выяснилось, что директором школы была мать и теща мне известной пары студентов моего отделения, поэтому агитация была излишней.

Но всё равно оставалось много свободного времени, которого почти не было в университете, и надо было его суметь правильно потратить. Особенно это было важно в первый год, когда я еще не засел за диссертацию. Тогда я понял, что один из самых тяжёлых видов испытаний – испытание свободой. Часть аспирантов, чтобы одновременно заработать и занять время, устраивалась подрабатывать, чаще всего в качестве переводчиков. Но обычно оказывалось, что времени на это уходило слишком много, особенно если подработка была связана с разъездами, и это могло идти в ущерб диссертации. В итоге из институтских аспирантов моего года лишь около половины защитились; другие не смогли это сделать не столько из-за отсутствия способностей или культуры, сколько по причине неумения распределять время. Я в первый год аспирантуры решил не работать, а продолжать обучение. Шла подготовка к ЭКСПО–70 в Осаке, и были организованы курсы для переводчиков. Я ходил туда по вечерам, но в итоге не выдержал конкуренции и в Осаку не попал (из нашей университетской группы два человека поехали). Но занятия мне помогали не забывать японский язык, поскольку после окончания МГУ у меня было мало языковой практики. Институт посылал аспирантов и молодых сотрудников работать с иностранцами, я в июне 1969 г. сопровождал уже пожилого французского япониста Шарля Агеноэра, говоря с ним на смеси японского и французского языков, но все же такое случалось эпизодически. Помню, как профессор по дороге из Шереметьева в Москву удивлялся, как на шоссе мало машин. Я удивился его словам не меньше: по московским масштабам там транспорта было немало; только попав впоследствии за границу, я понял, что мой собеседник был прав.

Одним из важных компонентов процесса адаптации было привыкание к зданию и его окрестностям, в которых я редко бывал и до, и после этих лет. Тогда институт находился в доме под номером 2 по Армянскому переулку, в здании бывшего Лазаревского восточного института с обелиском во дворе в честь армянского миллионера Лазарева, который, как было написано на памятнике, пожертвовал на институт «знатный капитал». Пребывание в этом здании почти полностью совпадало с периодом директорства Б.Г. Гафурова, который возглавлял институт в 1956–1977 гг. Этот период многие, и я в том числе, считают «золотым веком» института; правда, самые лучшие годы я не застал. К концу 1960-х гг. уже наметился процесс старения. Само здание выглядело необычным и несколько таинственным: какие-то лестницы в неожиданных местах, неизвестно куда ведущие ходы. Здание явно не было предназначено для научного учреждения. Сейчас там посольство Армении, и я был там дважды, убедившись, что при сохранении наружного вида внутри оно подверглось значительной перестройке. Но при всех изменениях всегда сохранялся пышный зал с колоннами, в котором когда-то выступал еврейский театр «Габима». Ходил я и по лабиринту окрестных переулков, то в качестве дружинника, то к избирателям, то просто так, в основном и тогда это был район старой, иногда даже очень старой Москвы.

Отдел языков на момент моего прихода был очень велик, насчитывая почти сто человек; в моем секторе было около двух десятков сотрудников. Занимал отдел тогда в здании при дефиците помещений три комнаты. Правда, как раз ту из них, в которой первоначально заседал наш сектор, уже в конце моего первого года отобрали. Ее отдали вновь созданному Отделу Пакистана. На моих глазах сначала сектор Пакистана находился в отделе Индии, потом существовал сам по себе на правах отдела, а потом его передали в отдел, занимающийся мусульманским миром. Религия, а не язык, была признана решающим фактором.

Основателем Отдела языков был Георгий Петрович Сердюченко, которого я не застал (он умер за три года до моего туда поступления). Это один из примеров того, как один и тот же человек мог оцениваться разными людьми по-разному. В советской науке о языке 30-х и особенно 40-х гг. он, безусловно, играл отрицательную роль,

силовыми методами требуя безоговорочного признания самых бредовых идей академика Марра и грома тех, кто этого не делал. Он был не слишком культурен (в одной из статей обличал «буржуазных писателей» Мережковского и *Гиппиуса*) и слаб как учёный. Я не раз слышал рассказы о том, что за него писали. Но многие сотрудники его бывшего отдела (впрочем, далеко не все) сохранили о нём добрую память, и я в этом не раз убеждался. У него, несомненно, были, как сейчас говорят, менеджерские способности, и он обладал продуманной кадровой концепцией. Концепция состояла в том, что надо, во-первых, охватить как можно больше языков Азии и Северной Африки (о языках Тропической Африки речь шла тоже, но инициативу перехватил Институт языкознания, где до сих пор активен африканский сектор, ныне отдел), во-вторых, написать для них грамматики, а для самых крупных языков составить словари. В конце 50-х гг., когда Гафуров добился расширения штатов, Сердюченко набрал отдел из людей разного возраста, но в основном молодых, и разной подготовки, но в большинстве сходных по интересам и по-человечески совместимых. Аналогичная ситуация тогда складывалась и во многих других отделах института, где надо было впервые заниматься экономикой, политикой, историей ряда стран, а Гафуров сделал ставку на молодежь.

Судьба Сердюченко тоже не была простой и отразила ситуацию в стране. Долго ему приходилось «улучшать» социальное происхождение: он родом был из рыбацкого села на Азове и доказывал, что сам из рыбаков, но на самом деле его отец был дьякон. Брат у него был репрессирован, а жена, монголистка Буляш Хойчиевна Тодаева была по национальности калмычкой (они не были зарегистрированы, но вместе прожили много лет); Сердюченко легко мог от неё откреститься в годы войны, но, надо отметить, спас её от ссылки, используя свои связи. Потом она работала в Отделе языков и при мне и умерла совсем недавно, немного не дожив до ста лет и ровно на полвека пережив мужа. Выступление Сталина против Марра было для Сердюченко катастрофой, уже в 80-е годы я слышал, что будто бы его собирались арестовать в виде примера. Но Сталин заявил, что речь должна идти о научных, а не политических проблемах (и действительно, арестов в этой кампании не было). А Сердюченко сумел найти способ отсидеться: отправился в Китай, где только что победила революция, консультантом по языковой

политике. Там он был три года вместе с женой (несмотря на ее национальность), которая там собрала ценный материал по редким языкам монгольской семьи. Вернувшись, он создал отдел, который живет до сих пор.

Стремясь охватить по возможности всё, Сердюченко поощрял изучение языков, ранее совсем не известных в СССР. Особенно это касалось ареала Юго-Восточной Азии и отчасти Южной Азии. Поэтому многим людям с востоковедным образованием, чаще всего китаистам, приходилось переучиваться и осваивать новые для себя языки; иногда брали и людей с филологическим, но не востоковедным образованием. Но в результате к тому моменту, когда я пришел в отдел, там, так или иначе, изучались почти все государственные языки Азии и Северной Африки. Отдел, к тому времени почти не изменявшийся по составу с начала 60-х гг. (но уже с 1969 г. он вдруг начал катастрофически таять, о чём я скажу дальше), формировался по разумениям его основателя. Сердюченко понимал, что надо изучать много языков, в том числе ранее не исследовавшихся; понимал необходимость написания больших грамматик и словарей, но ему не приходило в голову, что лингвистика не просто описывает языки по некоторому шаблону, но ещё и делает это на основе тех или иных теорий, которые нужно развивать. Говорят, правда, что в душе он до конца жизни почитал Н.Я. Марра. Типичным для подхода Сердюченко начинанием была основанная им серия «Языки народов Азии и Африки», долго продолжавшаяся и после него, в которой было издано около сотни очерков. С одной стороны, в рамках серии появилось немало уникальных описаний редких языков. С другой стороны, очерки должны были писаться по типовой схеме, во многом скопированной со школьных учебников русского языка, и даже лучшим учёным, участвовавшим в серии, преодолеть схему бывало трудно. Преемник Сердюченко В.М. Солнцев был намного более заинтересован в теоретических проблемах языкознания (поэтому в 60–70-е гг. он благосклонно относился к зачислению в отдел выпускников моего отделения МГУ), но приходилось считаться с наличным составом отдела, который к тому же вскоре стал уменьшаться.

Привычки и способы работы большинства сотрудников отдела (хотя бывали и исключения вроде моего руководителя И.Ф. Вардуля) сильно отличались от того, что было принято там, где я

учился. Мне тогда однозначно казалось, что все различия нужно трактовать лишь в сторону традиций МГУ, потом я был уже не столь в этом уверен, хотя в своей работе традициям, освоенным в студенческие годы, я не изменял. В отделе было иначе. О точных методах уже не говорю, но трудно мне было принять, например, узкую специализацию сотрудников. Правда, многое здесь зависит от конкретной ситуации: скажем, для япониста она во многом вынуждена: этот язык не имеет близких родственников, и в наше время разве что исключительно талантливый С.А. Старостин занимался и китайским, и японским языком: языки слишком разные. Когда мы поступали в аспирантуру, Вардуль обещал дать нам еще один восточный язык (помню его слова: «китайский или индонезийский») однако это не осуществилось. Но мне было странно слышать, как сотрудница отдела, изучавшая пушту, иногда начинала мечтать о том, что неплохо бы ей выучить ещё персидский или арабский, хотя персидский язык близок к пушту, а арабский важен для того региона. Сердюченко составил отдел из совместимых людей, поэтому человеческое взаимопонимание было в целом неплохим, но научное взаимопонимание находилось с трудом. Обсуждение работы, особенно по языку, которым занимался лишь её автор, часто имело вид: «А вот в моем языке бывает еще и такое». Проблемы общего языкознания и теории обычно мало волновали сотрудников отдела, нас же учили по-другому.

Зато каждый сотрудник, даже не бывавший в своей стране, имел представление о её истории и культуре. Здесь продолжались старые традиции восточного языкознания как части страноведения. Иначе бывало на «моем» отделении в МГУ. Уже в 90-е гг. А.Е. Кибрик, приняв заведование кафедрой, устроил встречу с преподавателями иностранных языков на отделении. Я помню выступление преподавательницы испанского языка: *у Вас очень интересные студенты, они находят в нашем языке то, что мне и в голову не приходило, но вот беда: не знают, кто такой Гарсия Маркес*. Не скажу, что подобного не бывало в Отделе языков Института востоковедения, но не так часто. Мне, правда, в этом отношении повезло: В.С. Гривнин, сам литературовед и переводчик, обращал внимание на наше просвещение в этом отношении и добился у Звегинцева разрешения прочитать курс по японской культуре. Мы, кончая университет, знали, кто такие Кавабата Ясунари или Абэ

Кобо (о первом Гривнин, впоследствии его переводивший, тогда отзывался иронически, сравнивая с Чарской, а второго очень ценил). Но позже в институте с другими выпускниками отделения такого рода проблемы бывали.

Вставал вопрос и о способах изучения, где я в отличие от моих младших коллег, увы, остался консерватором. В отделе преобладал книжный способ. Главным источником получения информации была расписка текстов на карточки. Так приходилось работать и мне. Полевые методы не использовались. А в МГУ в это время благодаря деятельности Александра Евгеньевича Кибрика и Ариадны Ивановны Кузнецовой началась продолжающаяся до настоящего времени профессиональная подготовка студентов-лингвистов через участие в экспедициях по изучению языков народов СССР, большинство из которых традиционно считались восточными. Экспедиции, по сей день продолжающиеся, стали замечательной школой для многих наших языковедов, в том числе приходивших после меня в Институт востоковедения. Они давали возможность студентам сразу вести самостоятельную работу и в то же время сплачивали научный коллектив и формировали студенческое братство. Мне, к сожалению, не удалось в них участвовать: они начались в 1967 г., и первым курсом, студенты которого ездили в экспедиции, стал следующий после моего. Но я понимал, что за экспедиционной деятельностью будущее, которое касается и языков, изучаемых в Институте востоковедения, а я по не по своей вине многое потерял. Впоследствии, о чём еще будет сказано, экспедиции дошли и до Института востоковедения, но я в них не участвовал.

Не мог я привыкнуть в отделе и ко многому другому. Пройдя школу отделения структурной и прикладной лингвистики с обширным курсом математической логики, я усвоил чёткие формулировки этой науки и старался избегать всяких неопределённостей. В вузах, которые заканчивало большинство сотрудников отдела, требования строгости не налагались. Меня, например, раздражало неумение многих из них отвечать одним словом на вопросы, которые требуют ответа «Да» или «Нет»; они вместо этого начинали отвечать длинными фразами, повторять одно и то же и сбиваться. Дело здесь было не в чьих-то личных качествах, а в полученном воспитании. Много лет спустя, в 1995 г. мне уже в качестве зам. дирек-

тора пришлось участвовать в обсуждении спорной докторской диссертации не по лингвистике, диссертант пришёл вместе с женой, по профессии психиатром. После положительного вердикта она начала давать психологические характеристики присутствующих, которых не знала, обо мне сказала: «У Вас не вполне гуманитарное образование». Я в душе радовался. Однако и тогда бывали строго мыслящие ученые и среди тех, кто учился во вполне гуманитарных вузах. Для меня эталоном среди лингвистов всегда был недавно скончавшийся на 92-м году жизни ленинградский китаист и теоретик Сергей Евгеньевич Яхонтов, в 60–70-е гг. он часто выступал в Институте востоковедения, и я его с удовольствием слушал с аспирантских лет. Помню, как после доклада на конференции молодого перспективного лингвиста (выпускника «моего» отделения) он попросил его на каждый задаваемый вопрос отвечать «Да» или «Нет». Каждый его вопрос с железной логикой вытекал из ответа его собеседника на предыдущий; наконец, на пятый или шестой вопрос Яхонтова весь красный докладчик был вынужден сказать: «Да», что означало признание точки зрения, опровергавшейся в докладе.

Но я пока что говорил лишь об отделе в целом, а каждый коллектив состоит из людей. В отделе к 1968 г. было всего несколько человек пенсионного и предпенсионного возраста, совсем не было пятидесятилетних (поколение, выбитое войной) и много сотрудников от 45 лет и моложе. Выше я говорил, что отдел (как и другие отделы института) сложился к концу 50-х гг., и тогдашняя молодежь составила численное большинство. Многие в этом поколении заняли в институте видное положение. В.М. Солнцев к моменту моего поступления в аспирантуру уже был одновременно заместителем директора и заведующим отделом, а ему было лишь сорок; Вардуль, успевший участвовать в войне с Японией, был ненамного его старше. И это поколение держалось долго. Например, монголистка М.Н. Орловская проработала в институте с 1952 по 2016 год! Когда я стал заведовать отделом в 1989 г., я еще был моложе большинства его сотрудников.

Из старшего поколения я еще застал монголиста и маньчжуриста Б.К. Пашкова, которому было около восьмидесяти: он уже с трудом ходил и говорил, но держался прямо. Мы его хоронили, когда я ещё учился в аспирантуре, на похоронах выступал калмыцкий

поэт Давид Кугультинов, который читал стихи о том, как он возвращался из лагеря и на вокзале в Москве его встречал дорогой учитель Пашков.

Аспирантов и молодых сотрудников часто отправляли на торжественные похороны. Помимо Пашкова, я участвовал в похоронах академиков Н.И. Конрада, А.А. Губера, позже И.М. Майского. Когда умер Конрад (при жизни я видел его лишь издали), я вдвоем с другим сотрудником ездил на деревообделочную фабрику Специализированного треста бытового обслуживания населения, выпускавшую лишь один вид продукции; выбор гроба оказался нелегким делом. Потом я попал на его отпевание в церкви Ризположения недалеко от дома академиков, где он жил (злые языки называли её академической церковью: немалое число членов АН её посещали). Попав туда, даже я понял по составу участников политический характер происходящего. По дороге из церкви к метро меня познакомили с уволенным из института до моего прихода А.М. Пятигорским. Он обещал назавтра выступить на гражданской панихиде и «сказать правду», приятели его уговаривали этого не делать и, видимо, уговорили: на следующий день он не выступал. Сейчас в одном из сборников я нашёл данные опроса студентов на тему «Честь в представлениях современной молодежи». Среди образцов чести наряду с Дон Кихотом, Петром I, Линкольном, М. Ганди, Ходорковским и др. назывался «философ Пятигорский» (в институте он считался специалистом по тамильской литературе). Видимо, под влиянием телепередачи о нём. Есть об этом учёном и книга. Но я его видел единственный раз (вскоре он уехал из СССР) и не выделял среди других диссидентов.

Эмиграция в Институте востоковедения началась в 1971 г., уже на моих глазах. Первым уехал уже упоминавшийся М. Занд. Вскоре после этого я как-то выходил из зала после очередного мероприятия; по коридору шёл Лев Игоревич Рейснер, один из видных институтских вольнодумцев; я был с ним знаком по «картошке». Он спросил, что было; я сказал, что заседание памяти Конрада, на что последовало: «— А заседание памяти Занда было? — Нет. — Ну еще будет». С Зандом я познакомился на конференции в Германии лишь в 1991 году. Он всё же не стал столь знаменит, как Пятигорский. Непосредственно из отдела уехал один сотрудник: Б.Л. Огибенин.

А сектор, к которому я был приписан, в 1968 г. возглавлял монголист Гарма Данцаранович Санжеев. Его имя мне было уже известно благодаря упоминанию в «Основах фонологии» Н.С. Трубецкого. Это был не только крупный ученый, но и интересный человек, сочетавший в себе хитрость и простодушие, образованность и привычки восточного человека (он был бурят), так и не преодолевшего (и скорее культивировавшего) сильный акцент. Он был активным и по характеру очень непосредственным, постоянно ввязывавшимся в споры. Благодаря этому Санжеев стал единственным из наших известных языковедов, к которому непосредственно обращался Сталин. После выступления вождя по вопросам языкознания в 1950 г. Санжеев послал ему письмо, где спрашивал о «роли диалектов в образовании национальных языков», попав, пожалуй, в самое слабое с точки зрения лингвиста место сталинской статьи. Формулировка вождя не соответствовала истории монгольских языков, которой занимался Гарма Данцаранович, и он осмелился обратиться прямо к источнику ошибки, возразив на нее, пусть в осторожной форме. И вождь косвенно признался в правоте своего корреспондента, подав это в форме ответа непогрешимого «учителя» умному ученику. Редкий случай для того времени. Мною Санжеев мало интересовался, считая, что руководителю виднее. Но в том, что было важно для него, он, по мнению некоторых людей, близких к нему, мог быть деспотом. Административной деятельностью он явно тяготился, и ещё когда я был в аспирантуре, передал сектор Вардулю. Умер Санжеев в 1982 г.

Японистов в секторе к моменту моего поступления, помимо Вардуля, было трое. Из них самым ярким был Николай Александрович Сыромятников, о котором я уже публиковал воспоминания. Тогда ему было под шестьдесят, но он только что в первый (и единственный) раз женился. Во всём, что касалось науки, Сыромятников был активен и бескомпромиссен. По числу изданных книг он занимал в отделе одно из первых мест. Еще в аспирантские годы он не посчитался с авторитетом своего руководителя, знаменитого Н.И. Конрада, и добился права защищать диссертацию по самостоятельно выбранной теме. В моё время он постоянно критиковал всех, чьи работы ему приходилось видеть, невзирая на звания. Но ему интересно было читать, критиковать и редактировать (он был еще и профессиональным редактором) тексты любых авторов,

включая и аспирантов. В отделе это было свойственно далеко не всем. Он подолгу, как сам говорил, учил меня писать и правил первые мои статьи и куски диссертации, не оставляя там живого места. Мне тогда казалось, что я писать уже умею (у меня были публикации по диплому), и незачем меня учить, но Николай Александрович как опытный редактор многое мне передал, и впоследствии я это понял. Любопытно, что править чужие работы он умел лучше, чем свои. У него до того времени не было собственных учеников, и он, не щадя времени, образовывал нас с Леной, чужих аспирантов, в том числе взявшись читать нам курс истории японского языка, которая не входила в наше университетское образование. Естественно, бесплатно. Он также учил японскому языку сотрудников отдела. Ему хотелось передать свои обширные, хотя не всегда должным образом организованные знания. Поэтому и в своих публикациях ему надо было выговориться, нередко в ущерб композиции. Среди его критических замечаний постоянно бывали и справедливые, и не очень серьезные. Однажды, когда в отделе выступал приехавший из Ленинграда С.Е. Яхонтов, Сыромятников, торопившийся в театр, накидал замечаний и удалился, а докладчик спросил аудиторию: «Кто-нибудь согласен с замечаниями Николая Александровича?» Никто не откликнулся, и Яхонтов стал отвечать другим.

Вот яркий пример особенностей характера Сыромятникова, который я уже приводил в публикациях, относящийся к последним годам его жизни. Однажды в институте на диссертационном совете, в который он входил, оппонентом выступал уже очень знаменитый С.С. Аверинцев. Он стал рассуждать об общих цивилизационных проблемах, но его прервал голос Николая Александровича с места: «Ближе к теме диссертации!». Не привыкший к таким реакциям зала Аверинцев осёкся и быстро закончил выступление. Невежливо? Но была проявлена самостоятельность. Её он показывал и при встречах отдела с Гафуровым, который однажды согнал его с трибуны, когда ему надоело слушать настырного ученого.

Но самостоятельность Сыромятников проявлял лишь в научной сфере. В остальном – от политики до быта – это был крайне наивный человек во многом с детским восприятием мира и отношением к жизни. Дома о нём всю жизнь, как о ребёнке, заботились сначала мать, а потом жена. В 1980 г. мы с ним ездили на конференцию в

Польшу, и я наблюдал, как он не знал, на что потратить обмененные золотые. В конце концов, он решился купить жене туфли, но хозяин частной лавки, поняв, с кем имеет дело, продал несчастному учёному две туфли на одну ногу. Николай Александрович был любознателен, но не имел критериев отбора информации и верил всему от формулировок на политсеминарах до распространившихся в это время рассказов о летающих тарелках и экстрасенсах.

Николая Александровича любили, у него не было врагов. Но когда в 1981 г. пришло строгое предписание сократить штат отдела на три единицы, то выходом из положения показался его перевод как доктора наук в консультанты (он выводился за штат, но сохранял право публиковаться под грифом института и не очень много терял в деньгах). Однако Сыромятников очень расстроился (эта перемена как раз совпала с его семидесятилетием), сразу стал сдавать и через три года умер. Его вдова иногда звонила мне даже в 2010-е годы и в начале 2020-х гг.

Вначале в отделе было еще два япониста: К.А. Попов и П.Ф. Толкачёв. Попов, уже пожилой человек, был (как и Сыромятников) одним из последних представителей дальневосточной школы востоковедов, разогнанной перед войной. Он был скорее не лингвистом, а филологом, погрузившимся к тому времени в перевод и комментирование памятников VIII века. С Сыромятниковым он не сходилась во всём: если тот был общителен и наивен, то Попов запомнился как мрачный и угрюмый человек, его не очень любили. В 1973 г. коллектив изданного за три года до этого «Большого японско-русского словаря» (во главе с уже умершим Н.И. Конрадом) получил Государственную премию СССР, в том числе Сыромятников и Попов. После вручения лауреатских знаков в Свердловском зале Кремля состоялся банкет в «Метрополе». Сыромятников сиял, а Попов был как всегда сумрачен. Еще мне там запомнилась вдова Конрада Наталья Исаевна Фельдман (фактически руководившая составлением и изданием словаря); она так и не оправилась после потери мужа и была отрешена от всего, видимо, понимая, что и ей жить осталось недолго. Попов дожил до глубокой старости. Толкачёв был из семьи русских эмигрантов в Маньчжурии и приехал в СССР после войны. Он прекрасно знал язык и по поручению Вардуля дополнительно занимался со мной и Леной. Однако он был

человеком совершенно не научного склада и, с трудом доделав диссертацию, уже больше подобным не занимался. На защиту Толкачев пригласил своего то ли родственника, то ли друга, и тот, когда диссертант закончил выступление, начал аплодировать, но в академических кругах это не было принято, и его не поддержали (сейчас вдруг аплодисменты на защитах появились вопреки традициям). И Попов, и Толкачев при мне работали в Отделе языков недолго, вскоре перейдя в другие отделы института.

Еще одно имя не могу не назвать: Юрий Константинович Лекомцев. В начале 60-х гг. на волне увлечения точными методами было решено создать сектора или группы структурной лингвистики во всех московских академических институтах, где изучались языки. В других институтах сформировались устойчивые коллективы, например, в Институте славяноведения во главе с В.В. Ивановым. В Институте востоковедения это не получилось: при довольно сильном первоначальном составе не нашлось общих интересов, и уже в первые годы моей жизни в институте группа разбежалась. Кто уехал за границу, как Б.Л. Огибенин и ранее уволенный Ю.Я. Глазов, кто ушёл в другие московские учреждения, иногда с повышением, как Ю.В. Рождественский, ставший заведующим кафедрой в МГУ. Рождественский поначалу меня заинтересовал лекциями для аспирантов, от него я впервые узнал о лингвистических традициях за пределами Европы, которыми не без его первоначального влияния стал заниматься. Однако отношения с ним довольно быстро испортились из-за всего лишь одного моего высказывания. В именном указателе к вышедшей книге (как раз о традициях) он про японских ученых вместо дат жизни писал: такой-то (XX век). Я сказал Рождественскому, что можно было спросить хотя бы у меня: я эти даты знал. И я сразу понял, что теперь он на меня в смертельной обиде. А потом в МГУ он плохо поступил с «моей» кафедрой, присоединив её к собственной и выгнав с заведования Звегинцева. Отделение, к счастью, сохранилось. А в книге об истории лингвистики Рождественский, как я обнаружил, когда стал этими проблемами заниматься, допустил много ошибок.

Но хочется сказать о Лекомцеве. Сердюченко когда-то брал его как вьетнамиста, а он стал заниматься алгебраическими моделями языка, используя сложный математический аппарат. По складу он был исследователем-одиночкой, постоянно был сам по себе, писал

всегда очень трудно. К 1974 году он в группе остался один. Еще раньше, начиная с моих аспирантских лет, у него начало резко ухудшаться здоровье на почве диабета. Я застал его ещё в более или менее нормальном виде, но уже через год я узнал, что ему «отсекли», как он выражался, ногу, через несколько лет он потерял и вторую, в эти же годы он и ослеп. Но до последнего дня (умер в 1984 г.) продолжал работать, показав пример научного служения. Книга, над которой он много лет работал, вышла за год до его смерти. Но получилось, что наука о языке стала развиваться так, что его исследования оказались в стороне от ее магистральных направлений. И Лекомцева после смерти довольно скоро забыли. Но кто его знает? Наука, как известно, развивается не по прямой линии, а по спирали. Может быть, и о его «формализмах» вспомнят.

И оказалось, что я пришел в отдел накануне больших перемен, не только в структурной группе. Когда я поступил в аспирантуру в 1968 г., отдел был близок к максимальному количеству. Казалось, что все основные семьи и группы языков Азии и Северной Африки охвачены специалистами, и говорили о восполнении отдельных пробелов, скажем, языков Океании. Но прямо на моих глазах, начиная с 1969 года, отдел стал уменьшаться. Чуть ли не каждый месяц я, приходя в институт, узнавал об очередной потере, и к концу моего аспирантского срока отдел сократился где-то на треть. Причины были разными, начавшийся в это время отъезд якобы в Израиль затронул институт, но всё же не был самой массовой из них. Чаще причины бывали материальными. Многие сотрудники десятилетиями оставались «младшими научными» и не могли продвигаться в зарплате; позже и я пробыл в таком статусе 12 лет, получив должность старшего научного сотрудника лишь после постановки на защиту докторской диссертации. Как раз в это время организовали Институт Дальнего Востока, где поначалу можно было сразу получить более высокую должность, туда ушли несколько китаистов. Еще ряд сотрудников, особенно обременённых семьей, с трудом осиливали «испытание свободой», требовавшее, тем не менее, концентрации умственных сил для написания текстов, и уходили на преподавание, где не только платили чаще всего больше, но и можно было работать на «автопилоте».

Но место уходящих должно было заполняться новыми кадрами, прежде всего, молодежными. Я сразу, попав в Институт востоковедения, стал думать о том, как привлечь туда выпускников законченного мной отделения, многих из которых хорошо знал. Был еще один фактор: эти выпускники хотели заниматься наукой, а количество возможностей было ограничено, тогда как в ИВЯ / ИСАА при МГУ к тому времени наметился практицизм: были, конечно, исключения, но большинство студентов скорее думали о возможностях заграничной (своей или мужа), чем о занятиях наукой, из этого вуза в науку приходили редко, тогда как на отделении структурной и прикладной лингвистики о научной карьере мечтали многие. К тому же вскоре появился новый фактор: на отделении начались экспедиции, и многие его выпускники хотели изучать редкие языки на основе экспедиционного опыта. Я с первого года аспирантуры стал приводить в институт для знакомства студентов последнего курса и неустроенных выпускников. Вардуль это поддерживал, в первые годы к этому был склонен и Солнцев. Не всегда получалось, к поступающим были разные требования. Конечно, минусом было незнание восточных языков, но в Институте востоковедения без их знания кого-то принимали и раньше, если язык вообще не был изучен. И в 1972 г., когда я только что защитил диссертацию, в аспирантуру приняли сразу троих: А.Н. Барулина, Т.Г. Погибенко и Н.К. Соколовскую. Из них Тамара Погибенко, начинавшая деятельность студенткой в кавказских экспедициях, теперь уже работает в институте дольше, чем работал я. Она стала ведущим специалистом в стране по кхмерскому языку и родственным ему языкам. Наташа Соколовская была талантлива, но, к сожалению, рано умерла.

Особо надо выделить Сашу Барулина (1944–2021). Это был один из самых заметных в институте выпускников отделения структурной и прикладной лингвистики, попавший в коллектив, в основном воспитанный на других традициях, и стремившийся не только войти в него, но и его преобразовать. О нём я пишу в отдельном очерке.

Я к тому времени написал кандидатскую диссертацию «Грамматическая система форм вежливости в современном японском языке» (тему предложил Вардуль), защитил ее 21 октября 1971 г. и был в том же году зачислен в штат института. Первой работой в

качестве младшего научного сотрудника стала книга на основе диссертации. Ей повезло, главным образом, из-за темы, и, впервые изданная в 1973 г., в 2014 г. она вышла пятым изданием, а в 2022-м шестым.

Помимо науки, я всегда занимался, особенно в те годы, общественной работой, и связанной, и не связанной с наукой. Я к этому привык в школе и в университете, где, например, был старостой курса. В отделе я уже в первый год после зачисления стал учёным секретарем. Еще со второго курса аспирантуры я был в комсомольском бюро, а несколько позже, в 1974–1976 был секретарем комсомольской организации института, ещё позже, выйдя из комсомольского возраста, я стал первым председателем институтского совета молодых ученых. В 1973 г. меня приняли в кандидаты, а в 1974 г. – в члены партии.

Среди научных работников и тогда, и ещё в большей степени позже была распространена точка зрения о несовместимости науки и такой деятельности. Но для меня естественными занятиями были и те, и другие, так я был воспитан. И я всё-таки в срок написал и защитил диссертацию. Вероятно, совмещать два дела мне помогало отсутствие личной жизни (я ещё не был женат) и нелюбовь к компаниям и застольям. Набегавшись за день, я вечерами обычно был дома. Я всегда с трудом сходил с людьми, а общественные дела помогали контактам (я знал всех институтских комсомольцев, то есть всё своё поколение в институте), Много я бывал и в Бауманском райкоме ВЛКСМ на улице Лукьянова. Нас курировал как инструктор этого райкома Коробченко, впоследствии управделами при Лужкове. Пиком моей жизни в комсомоле стало осенью 1972 г. путешествие по Сибири в составе специального поезда комсомольского актива. Мы побывали во всех крупных сибирских городах на трассе Великой дороги, на Красноярской и Братской ГЭС, в «Столбах» и на Байкале, где у меня ветром унесло в озеро шляпу. Потом я нигде, кроме Новосибирска и Красноярска, больше не был и лишь в 2019 г. попал на бурятскую сторону Байкала. Нас хорошо принимали, мы сдружились между собой, пели под гитару репертуар от «Комсомольцев-добровольцев» до «Поручика Голицына», было весело. Самым весёлым городом оказался Томск. Но потом так ни с кем из попутчиков я не поддерживал отношения, и всё осталось ярким эпизодом молодости.

Следующий 1973 год оказался у меня, может быть, самым богатым важными событиями в жизни. Издал первую книгу. В МГУ впервые прочитал курс для студентов (спецкурс для второго набора японистов на моем отделении). Возобновил после долгого перерыва и уже никогда не прерывал отношения с будущей женой, о чём я еще буду говорить в очерке о ней. И именно тогда у меня неожиданно случились две первые за институтские годы поездки за рубеж, и обе очень интересные (правда, я до того был в студенческой группе в Польше). Всё вот так совпало.

За год до этого благоволивший ко мне В.М. Солнцев включил меня в оргкомитет, готовивший поездку советской делегации на очередной Международный конгресс востоковедов в Париже. Я должен был заниматься разного рода черновой оргработой в обмен на возможность поездки туда в составе так называемой туристической группы. Целый год я батрачил, воспринимая это как должное. Мои знакомые не верили в возможность такой поездки, но она состоялась. Мы прибыли в Париж как раз 14 июля. Прямо с самолёта нас повезли на Эйфелеву башню. Я был самым молодым и хотел вечером организовать компанию, чтобы пройти до площади Бастилии, но старшие коллеги после целого дня экскурсий устали и не пошли, и мы сидели перед парижской мэрией, смотря на праздничную толпу и слушая разрывы петард. Мой доклад прошёл не слишком удачно, но я познакомился с некоторыми западными учеными, в том числе с Д. Синором, о котором рассказ еще впереди. И Париж, конечно, был Париж (в следующий раз я туда попал лишь почти через тридцать лет). Я всё же гулял не только группой, но и в одиночку и на Елисейских полях встретил руководителя туристической группы будущего академика и долгожителя Е.П. Чельшева, который тоже гулял в одиночку, мы поздоровались и пошли своими дорогами. Но не всё было так мирно. В гостинице в моё отсутствие какие-то представители власти изучали мой чемодан и сломали замки, а во время нашего пребывания в Париже произошла попытка угона самолета; поэтому, когда мы уезжали, нас проверяли исключительно строго. В нашей группе был немолодой бурятский учёный, который вёз домой большую куклу; ажан заподозрил, что у человека неевропейской внешности внутри куклы есть нечто незаконное, и приготовился резать ее ножом. Бурят издал необычный горловой звук, полицейский испугался, и кукла уцелела.

1973 год, богатый разнообразными событиями, принес в его конце ещё одно: я закончил его, неожиданно для себя, в изучаемой стране. Впервые я уезжал из Москвы столь далеко и столь надолго: на полгода. В институте возможности поездок в изучаемые страны и общения с носителями изучаемых языков уже существовали в отличие от 30–50-х гг. Куда-то было нельзя попасть, но всё-таки с некоторыми странами существовали достаточные контакты. К моему счастью, в их числе оказалась и Япония, несмотря на прохладные отношения между ней и СССР (однако тогда они были лучше, чем потом). После неудачи с ЭКСПО–70 я не слишком добивался поездки туда, однако с сентября 1973 г. по март 1974 г., уже будучи кандидатом наук, смог поработать на космической выставке в городе Симидзу. Успехи СССР в космосе тогда вызывали интерес во многих странах. Однако выставка открылась не в Токио, а в культурном центре в 100 километрах от него, и посетителей там оказалось немного. Это было хорошо тем, что мне с самого начала удалось познакомиться с обычной, провинциальной Японией, жившей тогда ещё большей частью в домах с раздвижными стенами и черепичными крышами (во всех последующих поездках я жил в больших городах). Но я надеялся восстановить снизившееся за годы отсутствия практики (несмотря на занятия с Толкачёвым) знание языка. Частично это удалось, под конец я уже нормально говорил, вероятно, лучше, чем когда-либо до и после этого, но всё же значительная часть времени проходила без практики: надо было сидеть весь рабочий день в павильоне, а носителей языка было мало. К тому же много надо было говорить по-русски в колонии соотечественников, работавших на выставке, где, как постоянно бывает в замкнутых коллективах почти без знания языка, начались интриги и выяснения отношений.

Но язык я осваивал и старался не забывать о науке. Я выискивал примеры, которые могли пригодиться (иногда я их использую даже сейчас). Тогда я стал понимать, что структурный подход к языку объясняет далеко не всё. Постоянно вставали вопросы, как передать японски фразы и выражения вроде: *Здравствуй, лунный камень!* или (тост): *За его величество рабочий класс!* Дословно вроде бы и могу перевести, но у японцев такой перевод вызовет непонимание, а то и смех. Так не говорят, а почему не говорят? И такие вопросы вставали

постоянно: помимо фонетики и грамматики есть еще и культурный аспект языка, которым мы, иностранцы, владеем хуже всего.

И надо было учиться спать на циновках, сидеть, поджав ноги, есть палочками (последнему я так и не научился). И привыкать к тому, что японцы не знают того, что мы знаем с раннего детства, но знают многое другое. Рассказывая про космос, я иногда сталкивался с вопросами: «Что такое Марс?», «Что такое Венера?». Разумеется, все японцы слышат об этом в школе, но потом забывают так же, как английский язык (по крайней мере, так было тогда). В книге отзывов иногда пытались писать по-иностранному, при полном незнании русского – на английском, но всё сводилось к фразам вроде: *It is a pen*. Японская сторона, подозревая в нас разведчиков, пыталась добиться упразднения переводчиков с российской стороны, но мы легко доказали, что это невозможно. Мы несколько дней натаскивали самого интеллигентного из японских переводчиков, а потом стали смотреть, как он отвечает на вопросы посетителей. Первый вопрос был: «Кто раньше всех летал на Луну?», и японец указал на висевший в павильоне портрет Гагарина. Мы остались. А мне однажды даже задали такой вопрос: «Почему ваша страна – *Советский союз*, а язык называется *русским*?». Мне рассказывали (сам я, правда, этого не слышал), что в Японии тогда нередко считали, что в СССР говорят на советском языке. С другой стороны, были вопросы, на которые никто из нас не мог ответить, и не только из-за секретности, например, показывая на макет космического корабля, спрашивали, сколько корабль стоит. И какие-то вещи с трудом укладывались в наших головах. Например, посреди культурного центра находился небольшой участок ниже уровня асфальта, где выращивали рис. Оказывается, когда покупали территорию под центр, один владелец участка отказался его продавать и продолжал сажать рис. Священное право частной собственности! Правда, когда я через одиннадцать лет в последний раз приезжал в Симидзу, этого участка уже не было.

Бывали экскурсии: в Киото и Нару, в Хаконе и Камакуру, на полуостров Идзу, к подножью горы Фудзи, которая была хорошо видна из окон нашего дома. В том году была тёплая и сухая осень, и гора долго не покрывалась снегом, что вместе с мировым энергетическим кризисом (японские СМИ признавали, что он не коснулся лишь СССР) плохо влияло на настроения японцев. Бывали мы и в

Токио, но огромный город я не успел как следует разглядеть и все-рьез познакомился с ним позже, когда мне приходилось там жить. Я вернулся в Москву с некоторыми познаниями страны и с языковой тренировкой, однако снова стал ее терять до следующей поездки в Японию. Там я потом был уже в научных командировках в 1979, 1984–1985, 1990 гг. (переводчиком после выставки больше не ездил). Самая долгая из них длилась почти год. Далее поездки становились всё короче, и лишь в 2007 г. удалось съездить на полтора месяца. После ухода из Института востоковедения я решил, что не смогу там больше бывать, учитывая возраст и уменьшение связей. Но в 2019 г., уже опираясь на палку, я всё-таки съездил на шесть дней в Киото на конференцию. Похоже, что теперь точно в последний раз.

Не могу сказать, что я так уж не любил переводческую деятельность, но никогда особенно к ней и не стремился, привыкнув к другим занятиям; работа с Агеноэром и выставка в Симидзу так и остались здесь основными вехами. Вероятно, это было ошибкой, и в результате я, как-то восстанавливая языковые знания в Японии, в Москве многое забывал до следующей поездки. А с 90-х гг. практика почти прекратилась. Увы! Еще намного раньше образовались расхождения между мной и остальной частью моей студенческой группы. Они погрузились в атмосферу японского языка и остались в ней на всю жизнь, почти все они подробно написали об этом в упомянутой книге «Полвека в японоведении». Лена Стругова какое-то время стремилась к научной деятельности, защитила в Институте востоковедения диссертацию, но с начала 80-х гг. тоже ушла в преподавание и художественный перевод. А я привык считать себя, во-первых, лингвистом и лишь, во-вторых, японистом, крепко усвоив дух университетского отделения. Мои соученицы со мной не спорили, но скоро стали смотреть на меня свысока, особенно когда я постепенно начал всё больше отходить от японистики.

Первоначально я всё же старался ограничивать себя японским языком, что, безусловно, поощрялось в Институте востоковедения. Ему были посвящены четыре первые мои книги и обе диссертации. Однако меня скоро начало тянуть в разные стороны. Как я уже отметил, от японского языка трудно перейти к какому-либо другому: слишком мало сходства. Правда, во второй половине 70-х гг. я ко-

роткое время пытался заниматься ещё айнским языком, единственным языком коренного меньшинства в Японии, ныне истреблённым; ни происхождением, ни строем он не был похож на японский. Переход к этому языку был для япониста естественным, поскольку основная литература по нему написана по-японски. А тут Барулин загорелся идеей найти айнов у нас на Сахалине и организовал экспедицию, о которой я специально пишу в очерке о Барулине. В августе 1978 г. мы вместе с ещё двумя лингвистами отправились на месяц на остров, но носителей айнского языка там уже не обнаружили. Была у меня и попытка изучать айнский язык в Японии, но она сорвалась. Однако некоторый материал, почерпнутый в японских работах, остался. И результатом стали позже статья о типологических особенностях этого языка, основанная на переинтерпретации японских источников, и краткий очерк в многотомнике «Языки мира» (вышел в 1997 г., там я также описал современный японский и старояпонский язык). Но, конечно, айнский язык, как и старояпонский, стали лишь боковым ответвлением в моей научной деятельности. Тянуло не туда.

Сыграло роль и мое вышеупомянутое неумение работать в поле. В экспедициях МГУ участвует целый коллектив исследователей, в который входят преподаватели и студенты; на начальном этапе они изучают язык как бы с чистого листа, ничего про него не зная; да и позже за довольно короткий период работы (обычно во время летних каникул) у них нет времени досконально его изучить. Тем не менее, «на выходе» неоднократно удавалось получить вполне серьезное описание системы языка или его фрагмента. Это удаётся сделать благодаря разработанной методике полевых исследований. Как писал А.Е. Кибрик, «кажется, что легче изучать язык, когда о нём предварительно многое известно. Однако следует иметь в виду, что всякая традиция навязывает некоторое априорное видение фактов. Усвоенная до знакомства с фактами, она их заменяет в нашем сознании, гипнотизируя творческую волю и мешая увидеть факты в их непосредственной данности. Впоследствии, под давлением языкового материала, начинается мучительное преодоление традиции, на что затрачивается много лишних усилий». Поэтому «наиболее благоприятная исследовательская ситуация» – работа «с

языками, не имеющими глубокой лингвистической традиции описания». А я на Сахалине очень ясно почувствовал ограниченность своих возможностей.

Выходил я за пределы чистой японистики по-иному. Со студенческих лет я привык к тому, что каждый конкретный язык – частный случай Языка вообще, и мне было интересно, как в японском или каком-то еще языке отражаются общелингвистические закономерности, но в то же время имеются специфические особенности. Уже в аспирантские годы я, познакомившись с японской наукой о языке, обратил внимание на то, что там слово и его границы понимают не так, как принято у нас; я стал думать, в чём здесь дело. Опять приходилось наткаться на рамки, установленные структурной лингвистикой. У меня начали появляться публикации общелингвистического и типологического характера, а в отношении слов и их классов (частей речи) вообще и в японском языке я придумал концепцию, изложенную в моей второй книге (1979). В ней я потом разочаровался, одну из написанных позже статей я опубликовал с подзаголовком: «Попытка самокритики», но тогда несколько исправленный вариант концепции я защитил в 1983 г. как докторскую диссертацию «Проблемы морфемы и слова в современном японском языке».

Я занимался структурным анализом японских морфем и грамматических категорий, но тянуло куда-то за пределы этого, поначалу скорее неосознанно. Вероятно, играло роль и место работы: академический Институт востоковедения, где лингвистика была лишь одним и не главным направлением из многих. Одни из моих коллег занимались восточными культурами и памятниками, другие (их было больше) – современными политическими процессами; и то, и другое бывало мне интересно. И уже в 70-е годы я, не бросая морфемный и словесный анализ, начал заниматься совсем другими, хотя и смежными темами.

Из этих же размышлений о японских словах выросло и изучение с 70-х гг. японской лингвистической традиции (Япония – одна из немногих стран, где ещё до европеизации самостоятельно сложилась весьма разработанная наука о языке), у нас изученной плохо и понимавшейся неадекватно. Рождественский когда-то дал первый толчок, но я пошёл совсем другой дорогой и с Рождественским уже не контактировал. Я подобрал группу японистов-переводчиков и

подготовил хрестоматию «Языкознание в Японии», изданную в 1983 г. А изучение традиции вело, с одной стороны, к обращению к японской культуре в целом, с другой стороны, к выяснению психологических основ традиции; меня вдруг потянуло в эту сторону. Пришлось штудировать труды А.Р. Лурия по речевым расстройствам (афазиям) и другие, как казалось тогда, не вполне лингвистические работы, позволявшие что-то понять о происходящем в мозгу у говорящего «на самом деле».

Тут, вероятно, сказалось семейное влияние, в данном случае отца, который занимался историей исторической науки в России и Франции. Я наряду со многим другим стал заниматься историей изучения японского языка не только в Японии, но и в России и СССР. И я вне всяких институтских планов с 1978 г. писал «для души» очерки истории этого изучения, они лежали у меня дома, но ко второй половине 80-х гг. получилась книга, в 1988 г. изданная. В ходе работы я видел, как отечественные подходы к этому языку, даже у таких крупных ученых, как Е.Д. Поливанов и А.А. Холодович, так или иначе основаны на представлениях носителя русского языка и не совпадают с теми, которые были приняты в Японии. Захотелось сопоставить русскую и, шире, европейскую традицию с японской, но также и с другими традициями от арабской до китайской, хотя там надо было как-то оценивать языки, которыми не владел.

А еще с начала 80-х я, поначалу даже скорее вынуждено, стал заниматься и социолингвистикой (проблемой связи языка и общества), первоначально тоже японской. В Институте востоковедения она поощрялась, а в коллективных работах писать японскую часть больше было некому. Но потом я и там нашел нечто интересное, убедившись, что после Н.И. Конрада таким анализом у нас никто всерьёз не занимается, а багаж выпускника МГУ здесь также был полезен. В конце концов, все основные области моей научной деятельности свелись к четырем направлениям, которые недавно стали названием моего сборника избранных статей (2017): «Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История языкознания».

И всё-таки весь этот разброс тематики тогда еще был привязан к японскому языку. Японский язык как бы оставался якорем и все 70-е гг., и большую часть 80-х. И лишь в конце 80-х (переломным оказался 1987 г.) я всё больше стал уходить от Японии. Существенную роль в этом сыграли общественные процессы в стране, о чём я

буду говорить дальше. Не будь их, я, возможно, так бы и остался японистом, хотя не в том смысле, который вкладывают в это слово мои сокурсницы. А потом я стал отклоняться в разные стороны, что вызвало критическое отношение не только у них. Выдающаяся исследовательница индоарийских языков Татьяна Яковлевна Елизаренкова сказала мне уже в 2000-е годы: «Зачем Вы бросили японский?» Я был огорчен, тем более что я в те годы всё-таки что-то писал и по японскому языку, но в чём-то она была права. Не знаю, насколько прав был я, но мне всё же большую часть своей научной жизни приходилось заниматься тем, что мне было в тот момент жизни интересно. Работы, которую необходимо было выполнить без желания, было за полвека немного.

Выполняя всё, что включалось в официальный план, я много писал «в стол», и не по политическим причинам. С цензурой я столкнулся один раз по случайному поводу: когда в Отделе языков началась работа по машинному переводу, о чём я скажу дальше, меня как ученого секретаря отдела вызвали в Главлит, где ознакомили с только что появившейся общей инструкцией о засекречивании сведений по данной теме. Это было в 1980 г. С политической правкой я столкнулся один раз: в предисловии к «Языкознанию в Японии» была фраза о том, что книга одного из японских лингвистов, изданная в 1941 г., появилась «в период максимального японского национализма». Рукопись просматривала одна из начальниц издательства и вычеркнула формулировку. Вот, кажется, и всё. Но я постоянно что-то писал, не зная, будет ли это когда-нибудь опубликовано в виде монографии или статьи, и даже не думая об этом. Выше уже упоминалась книга об изучении японского языка в нашей стране, в конце концов, изданная. И.Ф. Вардуль много лет пытался создать большую коллективную грамматику японского языка, и я в разные годы (с 1970-х по 2000-е) писал её разделы, хотя из разрозненных кусков, которые писали разные авторы, целое не получалось. В итоге первый том был издан после смерти Вардуля в 2000 г., а остальное уже под редакцией В.И. Подлесской только в 2008 г. А потом я после проб и ошибок понял, что проблема слова и частей речи – не собственно лингвистическая, а требующая обращения к изучению речевого механизма человека. И я вне всяких план-кварт в последнее перед большой поездкой в Японию лето 1984 г. на единственный раз за все годы снятой даче в Малаховке

запоем писал «Слово и части речи», первую у меня в большей части не японистическую книгу (всё же с японскими экскурсами). А потом я то оставлял рукопись вылеживаться, то забывал о ней за другими работами, то переделывал, то уже в постсоветское время не мог заинтересовать издательства. И в результате книга, уже значительно переработанная по сравнению с 1984 г., была издана под грифом Института востоковедения лишь в 2018 году, когда я в этом институте уже не работал. Ещё в начале того года я ее дорабатывал. 34 года!

Но возвращаюсь в 1970-е годы. Кроме научной жизни, была и другая. В 1976 г. я женился, и три года пришлось снимать квартиры, то в Теплом Стане, то в Тропареве, а затем я вернулся, уже вдвоем с женой, в ту же квартиру на 2 Песчаной улице (в 60–80-е гг. именованной улицей Георгию-Дежа), где жил с первого класса школы и живу сейчас. Родители заканчивали жизнь на Ленинском проспекте в академическом доме. О 42 годах жизни со своей Екатериной Александровной Стеценко (1946–2018) я пишу отдельно. Она успела также написать воспоминания, сейчас изданные (частично в журнале «Литература двух Америк», 2018, №5, полностью в 2019 г. в посмертной книге мемуаров «Не дать исчезнуть»).

Было и много другого, из чего складывается жизнь. Продолжались овощные базы и совхозы; в последнюю совхозную поездку в 1980 г. я нажил варикоз, что меня освободило от дальнейших посещений. В той поездке мы отобрали у местных мальчишек полиэтиленовый пакет с засунутым туда котёнком, которым те играли вместо мяча: котёнок потом сам отыскал наши домики и переселился к нам, и мы его кормили. Эта поездка вызывает у меня грустные воспоминания. В рабочей группе института нас было шестеро, потом одного задавила машина, другого, в новую эпоху ушедшего в бизнес, задушил южнокорейский партнер, ещё двое умерли довольно рано от болезней, и сейчас нас в живых остались лишь двое. Не раз военкомат собирался меня отправить на лагерные сборы, но реально я был призван лишь один раз в 1982 году. Но преподаватели Военного института, знавшие меня по публикациям и конференциям, предложили вместо лагеря ходить два месяца в их институт, как на работу, ночуя дома, и писать учебник теоретической грамматики японского языка (впоследствии был издан).

В годы «перестройки» на меня влияли иногда общие настроения, и я начинал думать, какие счета могу предъявить Советской власти, но вспоминались лишь какие-то мелочи вроде совхозов, овощных баз и вызовов в военкомат. Всё это было слишком незначительно по сравнению с тем, что я мог спокойно заниматься интересным для меня делом. Понимаю, конечно, что мне повезло больше, чем многим, в том числе играла роль и, хотя и гуманитарная, но далекая от политики наука, которой я занимался. Но получилось так.

В те годы у меня завязывались связи с вузами и научными учреждениями. С 1975 по 1997 гг. я шесть раз ездил во Владивосток и читал разные курсы по японистике. Один из курсов, прочитанный три раза, остался у меня в столе, но в 2017 г. в составе «Избранного» я его издал. Природа Приморья, как и Сахалина, осталась у меня в памяти. В Военном институте я после написания учебника прочёл два курса. Иногда я читал спецкурсы и на филологическом факультете МГУ, даже в годы, когда кафедру поглотил Рождественский (в перестроечные годы она восстановилась). Профком моего института регулярно устраивал экскурсии по стране в интересные места: благодаря этому я побывал и в Узбекистане, и в Прибалтике, и в старых русских городах. В Отделе языков устраивались научные конференции и дискуссии (тут много сделал И.Ф. Вардуль). Жизнь была достаточно интересной и, главное, стабильной. За границу, правда, после Парижа я долго (до 1986 г.) ездил лишь в Японию и некоторые соцстраны, но и это было немало.

Моя общественная деятельность после выхода из комсомольского возраста стала несколько менее активной, чем раньше, но, разумеется, закончиться не могла. Мне с конца 70-х гг. удалось из пропагандистов попасть в лекторы, в основном по Японии. Здесь было, где развернуться, к тому же я тогда уже бывал в стране, и помогал показ снятых там слайдов. Читал я лекции и в Москве, и с выездом по областям и республикам. Бывали самые разные места от военных училищ до товарных баз. Самым экзотичным было выступление с рассказом о Японии в тюрьме в городе Шклове (в Белоруссии). Мои лекции прекратились в конце 1991 г., о чём и сейчас жалею. А дали они мне много. В первые десятилетия работы в институте я преподавал лишь эпизодически, а лекции помогали

шлифовать умение выступать. На всю жизнь я запомнил, как однажды в городе Еманжелинске я выступал в школе на уроке истории; учительница не справлялась с учениками, они вели себя нагло, делали, что хотели, и не давали ей вести урок. Но как только я начал показывать слайды о Японии, всё преобразилось. Школьники замолчали и стали смотреть и слушать. Не всегда бывают столь явные победы.

Продолжал я заботиться и о пополнении отдела, кого-то удавалось принять. Особо я горжусь тем, что благодаря поддержке В.М. Солнцева удалось устроить в аспирантуру, а затем в штат ученого мирового значения С.А. Старостина, состоявшего в отделе в 1975–1992 гг.; о нем я тоже пишу отдельные воспоминания; он учился во второй после нашей японской группе отделения. Но он еще в большей степени, чем я, не ограничивался рамками японского языка и занимался в той или иной мере чуть ли не всеми известными языками Старого Света. Он, восстанавливая древние праязыки, мечтал дойти до «языка Адама», но умер в 52 года, отдав всего себя науке. Кстати, Старостин был «невъездным» из-за переписки с уехавшим за рубеж другом Лерманом, но в отдел он поступил без сложностей. Однако, когда в отделе начались вьетнамские экспедиции, его не пустили. Благодаря деятельности Старостина отдел стал ведущим в изучении дальнего языкового родства, в этой области наша страна занимает основное место в мире. Но позже, с начала 90-х гг. это изучение перебазировалось в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет), а затем и в Институт языкознания РАН. Бывали и неудачи. До сих пор жалею, что не удалось взять в аспирантуру будущего академика В.А. Плунгяна (он конкурировал с выпускником ИСАА, которого предпочли, исходя из знания им редкого языка, а тот, защитив диссертацию, ушел из науки; Плунгян же быстро успел поступить в аспирантуру Института языкознания).

Однако проблема, как вписаться в работу Института востоковедения, оставалась всегда, особенно когда сюда стали приходиться участники экспедиций. В Отделе языков Института востоковедения преобладало и преобладает изучение языков, «имеющих глубокую лингвистическую традицию описания», а молодые сотрудники отдела, имевшие лингвистическую, но не страноведную под-

готовку, исходили из полученных в экспедициях правил, описанных выше; они отличны от тех, в которых были воспитаны их старшие коллеги. Мне или Старостину хотя бы не предъявляли претензий в незнании языка. Легче было вписаться и таким, как Т.Г. Погибенко, которая выбрала себе язык и постаралась уже в аспирантуре им всесторонне овладеть. Но, разумеется, и она уже не могла ограничиться материалом только одного языка и пишет о типологии всей австронезийской семьи (к тому же когда в отделе начались собственные экспедиции, она, имея студенческий опыт, приняла в них участие). Однако другие не проявляли глубокого интереса к комплексу проблем, связанных с конкретикой изучаемого языка. Это создавало определённые трения в коллективе, усугублявшиеся возрастными различиями и иногда политическими расхождениями. Конечно, играли роль и различия характеров и темпераментов, при этом, как обычно бывает, резкость тональности прощали скорее, чем высокомерие. Тем не менее, состав отдела, которым с 1982 г. заведовал И.Ф. Вардуль, менялся, и той однородности, что была когда-то, уже не стало.

Период, когда отделом руководил Вардуль, ознаменовался попыткой создать коллективные монографии по отдельным лингвистическим проблемам. Это были «Типология порядка слов» и «Типология морфемы» под руководством Вардуля и «Части речи: теория и типология» под моим руководством. Последний труд, над которым работа шла все 80-е годы, и который вышел лишь в 1990 г., я считаю своей неудачей, хотя свой собственный раздел вполне признаю. Я чаще привык работать в одиночестве, а в коллективных трудах, которых у меня было за всю жизнь немало, мне легче было стать рядовым участником. Здесь я не могу не назвать ленинградский, затем петербургский коллектив, созданный в 60-е гг. А.А. Холодовичем, дело которого продолжили В.П. Недялков и В.С. Храковский. По единой схеме описывается та или иная синтаксическая конструкция (пассивная, повелительная, условная и т. д.) во многих языках мира, вышло около десятка книг, частично изданных и по-английски. После смерти в 1977 г. Холодовича японские главы начал писать я, работа продолжается. В годы, когда меня пристыдила Т.Я. Елизаренкова, я считал для себя, что не совсем «бросил японский», именно благодаря этим коллективным трудам. И хуже получалось возглавлять научные коллективы. С «Языкознанием в

Японии» когда-то было легче: там всё же люди переводили, а я потом единолично редактировал и сводил воедино написанное. С частями речи надо было навязывать свою концепцию, чего я не умел. Точки зрения участников по частям речи расходились, коллектив авторов не получился. Реально в 1990 г. вышел сборник статей. С тех пор я старался по возможности ничем таким не руководить. Администрировать всё-таки легче: спускаешь не собственную точку зрения, а мнение, оформляемое как безличное.

Менялись в отделе также проблемы и методы. В.М. Солнцев, оставшийся заместителем директора, используя свои контакты с вьетнамскими учеными, сумел добиться организации экспедиций по изучению малых языков этого государства. Многолетний руководитель экспедиций МГУ А.Е. Кибрик прочёл в отделе курс лекций. В экспедициях участвовали и сотрудники отдела старшего поколения (В.М. Солнцев, Н.В. Солнцева, Н.Ф. Алиева), и более молодые, некоторые из которых (Н.К. Соколовская, Т.Г. Погибенко, И.В. Самарина, А.Н. Барулин) имели и опыт экспедиций МГУ. Я включиться в эту работу и не пытался, уйдя к тому времени совсем в другие проблемы. Результатом стало несколько изданных очерков, но часть экспедиционных материалов и сейчас остается неопубликованной.

Особо надо сказать о развернувшейся с 70-х гг. в отделе работе над системой японско-русского автоматического перевода. Сначала в 1974 г. из ведомственного Института патентной информации в ИВ АН перешла в составе семи человек целая лаборатория автоматического перевода с японского языка на русский во главе с С.М. Шевенко, первой в Москве объявившей себя специалистом в этой области. Тогда не очень было ясно, зачем эта лаборатория в институте, занимавшемся совсем другими проблемами, но И.Ф. Вардуль сказал: «Семь ставок под ногами не валяются». Скоро выяснилось, что Шевенко, не столько что-то делает, сколько делает вид. Если не считать двух лаборанток, оставшихся и дальше на многие годы, при Шевенко состояли случайные люди. Никто не знал, что делать с семью ставками.

Вдруг всё решительно изменилось. В 1977 г. в лабораторию пришла Зоя Михайловна Шаляпина (1946–2020). Сначала она формально была подчинена Шевенко, но быстро добилась автономии, а затем постепенно избавилась от тех, кто не был занят делами лабо-

ратории: одни вполне успешно нашли себе иное дело по душе, а другие просто ушли, в том числе в домохозяйки. Сначала она всё разрабатывала одна с помощью лаборанток, потом стали появляться специалисты. Шевенко, в конце концов, уехала в Новую Зеландию.

Я знал Зою Михайловну со студенческих лет (с третьей межвузовской конференции по структурной, прикладной лингвистике и машинному переводу в 1967 г.), но она училась не в МГУ, а на соответствующем отделении в МГПИИЯ имени Тореца. Подготовка студентов в «ИнЯзе», как я теперь понимаю, была по сравнению с МГУ лучше продумана с точки зрения обучения решению практических задач, что потом сказалось на профессиональных возможностях Зои Михайловны. Меньше было математики, но студентов активно включали в развернувшуюся в институте прикладную деятельность. Работали и умелые прикладники, и тогдашние лидеры «передовой лингвистики» вплоть до «самого» И.А. Мельчука, который не допускался на филологический факультет МГУ (хотя в Институте восточных языков при университете он иногда выступал). К сожалению, отделение в МГПИИЯ было довольно скоро закрыто.

После окончания института Шаляпина весьма успешно трудилась над разработкой системы англо-русского автоматического перевода, но затем мы с ней вдруг встретились уже на постоянной основе в академическом Институте востоковедения, она была уже кандидатом наук. Я выше писал, зачем В.А. Звегинцев создавал нашу группу (а затем и другие японские группы, где учились С.А. Старостин, В.И. Подлесская, позже О.А. Мудрак), однако никто здесь не стал прикладником. А Шаляпина ни в студенческие годы, ни в МГПИИЯ не занималась японским языком. Но затем она поставила себе цель выучить его и без отрыва от основного места работы поступила на курсы японского языка. К моменту прихода в Институт востоковедения она уже владела им в достаточной степени.

Первые два года мы общались довольно мало и только по делам. Однако в августе 1979 г. ей удалось получить почти месяц стажировки на курсах японского языка для иностранцев в Токио. Я в это время был там в научной командировке, и Зоя по приезду сразу со мной связалась. И именно тогда мы по-настоящему подружились, перейдя по её предложению на «ты». Она каждый день посещала

курсы, жила в японской семье, много разговаривала на языке. Но времени оставалось много. Для меня это была уже вторая поездка в Японию, а до её приезда я там уже жил три месяца, поэтому надо было ей помогать. Сразу стало очевидно, насколько она любит путешествовать. Разумеется, надо было выбирать маршруты в пределах одного дня, но мы сумели выбраться и в Хаконе, и в Камакуру, и в Эносиму и в другие токийские окрестности; в самом Токио были и в синтоистских и буддийских храмах, и на Гиндзе, и в зоопарке.

По дороге мы много разговаривали. Скоро я выяснил, что у нас большое сходство и характеров, и мнений по многим вопросам. В те годы я постоянно ощущал, что многие мои коллеги, особенно моего возраста и моложе, всё больше склонялись к идеям, доходившим через западные «голоса»; советский взгляд на мир был всё больше не в почёте. Однако с Зоей мы сходились во взглядах почти во всём. За месяц, когда мы были в Токио, главной сенсацией стало бегство на Запад артиста балета Годунова, и помню, как она его осуждала. Вместе с Годуновым постоянно вспоминали Барышникова, и она сказала, что он оправдал свою фамилию. Позже она возмущалась словами её коллеги, уезжавшего из СССР, о причинах отъезда: «Не хочу, чтобы мои дети маршировали вокруг Вечного огня». Зоя рассказывала, что в МГПИИЯ она не боялась яростно спорить по политическим вопросам со своими учителями (а я этого избегал). Тем не менее, её профессионализм они признавали.

Но вернусь немного назад. Происходили перемены и в институте в целом. В июле 1977 г. умер Б.Г. Гафуров. Полгода не было директора, и институт за это время сразу потерял управляемость. Перед Новым годом пришел новый директор Евгений Максимович Примаков. Этот человек впоследствии вышел по своим масштабам далеко за институтские рамки (кажется, из всех людей, кого я лично знал, он – единственный, кому в Москве стоит памятник), но тогда он нами воспринимался, прежде всего, как разрушитель традиций, сложившихся при его предшественнике. Знаком разрушения вскоре стал переезд института с Армянского переулка на улицу Жданова, ныне Рождественку, где он находится и сейчас. Этот переезд начинался еще при Гафурове, но проходил очень медленно, а новый директор его форсировал. Последние месяцы 1978 г. силами молодых сотрудников института (нанимать рабочих денег не было)

мы переселялись, мне пришлось быть бригадиром. В новом здании отремонтировали вестибюль и парадную лестницу, где бывали важные гости, а основные помещения, в том числе те, где поселился Отдел языков, сразу приобрели запущенный вид, штукатурка с потолков иногда падала. Помещений стало больше, чем на Армянском переулке, но ненамного. Отделу вскоре еще и пришлось отдавать часть комнат.

Традиции ломались и иным образом. Немедленно после вступления в должность Примаков издал приказ об увеличении числа «присутственных дней» для разных категорий сотрудников. Младшие научные сотрудники – кандидаты вроде меня должны были проводить весь рабочий день в институте четыре раза в неделю (сотрудники без степени ежедневно). Это вызвало ропот. Директор вскоре устроил встречу с молодежью института, на которой присутствовал и я. Все мы дружно протестовали против излишнего сидения в институте. В конце концов, Евгений Максимович как умный человек нашел нужную линию поведения: не отменяя приказ, он перестал требовать его исполнения. Для нового директора главным было не это: он поставил задачу еще большей активизации и ранее приоритетных исследований современной политики и экономики. А изучение языков, литератур, памятников, которому Гафуров уделял немалое внимание, Примакова откровенно не интересовало. Он всё это называл «традиционным циклом» и полностью передоверил Солнцеву. Со мной он за восемь лет директорства говорил в институте один раз (как, впрочем, и Гафуров), переводя меня перед защитой докторской диссертации в 1983 г. в старшие научные сотрудники (еще раз в 1984 г. мы недолго беседовали в нашем посольстве, когда оба одновременно оказались в Японии). Мы, «неактуальные», чувствовали как бы общее понижение в ранге, и всерьез нам Примаков работать не помогал, однако особенно и не мешал. Лишь изредка давали задания вроде срочного перевода программы японской компартии.

В 1984–1985 гг. мне удалось получить почти годичную командировку в Японию, и официальной её целью был сбор материала для завершения недописанной «Теоретической грамматики японского языка». Материал я честно собирал, но потом он лежал много лет мертвым грузом и так бы и лежал до сих пор, если бы не энергия моей ученицы В.И. Подлесской (из второй японской группы

отделения, как и Старостин), заставившей всё же меня доделать свою часть грамматики, вышедшей только в 2008 году. Завершение этой многолетней работы в 2007–2008 гг. стало пока что последним моим всплеском обращения к японистике (последним ли в моей жизни?). Но вопреки первоначальным планам с первых же дней в Японии я стал собирать и другой материал. Вернувшись домой, я очень быстро написал книгу «Япония: язык и общество», которая была в 1988 г. издана (второе издание в 2003 г.). Эти сюжеты меня уже интересовали больше, чем структурный анализ. Мой учитель японского языка В.С. Гривнин говорил, что я наконец-то написал что-то нормальное, а не заумное.

В эту самую большую поездку в изучаемую страну я работал уже второй (и последний) раз в Государственном институте родного языка на окраине Токио; до того я пять месяцев был там в 1979 г. Через весь город приходилось туда ездить на метро. У меня был кабинет, но большую часть времени я проводил в библиотеке под репродукцией картины Брейгеля «Вавилонская башня». Окна выходили на школьную спортплощадку, где дети бегали и делали ритмические упражнения под музыку Оффенбаха и Кабалевского. Свободного времени было много, посольство не обращало на меня большого внимания, тем более что там меня курировал хорошо знавший меня по комсомольским делам сотрудник института Г. Кунадзе (впоследствии заместитель министра иностранных дел Козырева). Когда-то я, будучи секретарем комитета комсомола, отстаивал его прием в партию, куда его не хотели пускать из-за развода; в начале 90-х я об этом пожалел. Но как куратор он мне не мешал, что было важно. В посольство я ходил в кино и на концерты, брал читать советские газеты, да еще поручили мне собирать партийные взносы с тех, кто был там, как и я, в научных командировках.

В целом же я был (как и в предыдущий раз в 1979 г.) предоставлен самому себе. Тоже своего рода испытание свободой. Обратной стороной этого был, как ни странно, снова недостаток общения по-японски. Я посетил ряд видных японских лингвистов, общался с коллегами в институте, но часто бывали дни, когда я не говорил ни с кем ни слова. Японские социолингвисты отмечают, что если сами японцы оказываются за пределами семьи (а если семьи нет, то всегда) в таких же условиях, то говорить бывает не с кем и не о чем.

Ездить же по Токио можно было сколько угодно и куда угодно. Особенно меня привлекали синтоистские и буддийские праздники с церемониями, которые кажутся бессмысленными не только европейцам, но и просвещенным японцам (сотрудники Института родного языка их презирали), но всё-таки завораживают. Я собрал коллекцию фотографий и слайдов этих праздников, которые первые годы после поездки показывал на лекциях, а сейчас они лежат у меня в шкафу и никак не используются. Ездил и на любование сакурой, и на появление в феврале первых цветов сливы, и на осенние выставки хризантем. Бытовая сторона меня мало интересовала, и когда весной на месяц приехала жена, она, прежде всего, пришла в ужас из-за состояния квартиры, где почти не было никакой мебели, и долго пыталась навести хоть минимальный порядок. Но за десять месяцев я хорошо узнал Токио и ближайшие его окрестности. Далеко от столицы я почти не ездил, и лишь когда там была жена, мы совершили несколько путешествий. В том числе в стране, где все красоты каталогизированы, мы съездили в три места, где, как считается, можно увидеть лучшие пейзажи: в Миядзиму, Мацусиму и Аmano-Хасидате.

Как раз когда я был в Японии, в нашей стране начались изменения. Уезжал я еще при К.У. Черненко, а когда вернулся, уже правил М.С. Горбачев, успевший заявить о необходимости перемен. Сначала о них мы в основном слышали по телевизору, но постепенно они дошли и до института, где, впрочем, в качестве директора быстро начавшего идти вверх Примакова сменил совершенно советский по духу М.С. Капица, бывший дипломат. Какое-то время, когда Б.Н. Ельцин начал править Москвой, даже было закручивание гаек в советском стиле; новый лидер решил для исправления ситуации в торговле посылать в эту сферу людей других профессий. На институт пришла разнарядка, и парткому института (во многом и раньше игравшему роль амортизатора между учёными и властными структурами) с трудом удалось отбиться от торговли. Еще продолжались овощные базы. Последний раз в жизни я там был перед самым изгнанием Ельцина из Московского горкома, осенью 1987 г., но до сих пор нередко хожу туда во сне. Примерно тогда же я в последний раз был в военкомате, где меня поздравили с присвоением звания капитана запаса. Прежние источники неудобств уходили, но стали появляться новые.

Разумеется, особенно после превращения «ускорения» в «перестройку», стала меняться вся институтская обстановка. Институт всё-таки был идеологическим учреждением, в том числе связанным с международными делами. Помню выступление высокого ранга работника МИД, рассказывавшего о разрядке и «новом мышлении». Говорил о взаимности и паритете. Было ясно, чем это мышление отличается от «старого мышления» для нас, но ничего серьёзного не говорилось о том, как должен по-новому мыслить Запад. Я спросил его об этом. Он ушёл от прямого ответа, но видно было, что в душе дипломат совсем не сочувствует переменам и ощущает, что все изменения политики и идеологии касаются лишь одной из ранее противоборствующих сторон, сдававшей позиции.

Но Отдел языков в то время жил в основном прежней жизнью, хотя усилились склоки. Несколько сотрудников отдела пытались заменить Вардуля другим заведующим, а заодно насолить и мне (я считался его человеком), хотя я тогда ещё не занимал административных постов. Однако это не удалось, а я с 1987 г. стал заведовать своим сектором, и через два года Вардуль, здоровье которого ухудшилось, передал мне отдел.

Однако вокруг кипели страсти. Начались разоблачения того, что всегда считалось неприкосновенным, и обсуждения того, что ранее старались обходить. В то время, хотя у меня и возникали вопросы, меня ещё несла общая волна «перестройки», к тому же многое мне просто было интересно. В это время среди лингвистов началась кампания по созданию Московского лингвистического общества, которое должно было стать альтернативой «официальной науке». Я в нём принял участие, хотя моя мать за несколько месяцев до смерти очень огорчилась из-за этого и просила меня оттуда выйти. В течение двух лет общество несколько раз собиралось, выслушало несколько докладов, в том числе мой доклад о Марре, но скоро само собой всё утихло, прежде всего, потому что ожидавшаяся борьба не состоялась, «официальная наука» сдала позиции без боя.

У меня к осени 1987 г. наметился некоторый творческий кризис. Я сдал в издательство «Язык и общество» и книгу об изучении японского языка в России и написал большой текст (изданный в виде препринта), где начал сопоставлять разные лингвистические традиции. Новой темы ещё не было, а в сентябре я потерял мать (отец умер семью годами раньше) и был некоторое время выбит из

колеи. И тут сотрудник института Петр Михайлович Шаститко предложил мне написать для журнала «Восток» статью о значении для советского востоковедения выступления И.В. Сталина в 1950 г. по языкознанию. Редко когда в жизни я почувствовал такую радость. Кризис закончился, и я понял, что это то, что мне сейчас нужно. Петр Михайлович, как я думаю, имел в виду описание негативных последствий этого события, но я, вовсе не желая защитить Сталина, слишком хорошо знал отвергнутую вождём ненаучность построений академика Н.Я. Марра. О нём я уже писал, когда в 1983 г. готовил лингвистический раздел для коллективной «Истории советского востоковедения». Эта книга была написана, но так и не вышла из-за изменившейся ситуации в стране, оказавшись слишком «лакировочной». Мне сказали, что мой раздел вызывает наименьшие нарекания, но пропал весь труд. После того, как, наконец, изданы «Слово и части речи», это самая большая моя работа, не увидевшая света. Но уже тогда я овладел материалом, что только подтвердило уже существовавшее у меня мнение и потом помогло в работе над книгой.

Теперь надо было срочно знакомиться с недочитанной четырьмя годами раньше литературой, что приходилось делать параллельно с ликвидацией родительской квартиры на Ленинском проспекте. К концу января я собрал материал, включая беседы с тогда ещё живыми участниками тех событий (старейший из них, ученик Марра, потом преодолевший его влияние, Василий Иванович Абаев умер в 2001 г. почти последним среди них в возрасте ста лет). Стало ясно, что помимо статьи, которую я тоже написал, получается книга. За вторую половину февраля и март 1988 г., взяв даже отпуск в институте, я написал весь текст, назвав монографию «История одного мифа». В течение года я несколько раз выступал с докладами на её основе, которые благодаря тогда недостаточно известной её тематике вызвали интерес. Но издательство «Наука» сохраняло советские неспешные темпы, и книга вышла в свет лишь осенью 1991 г., уже в другую историческую эпоху, когда общественное внимание сместилось в другие стороны.

Издав книгу, я думал, что покончил с её темой, но оказалось, что Марр меня не отпускает. Что-то узнавалось дополнительно, и приходилось спорить с иногда продолжающимися попытками найти в «новом учении» Марра что-то высоконаучное. Они чаще

исходят не от лингвистов, которые не признают его независимо от отношения к главному его критику, а от ученых иных специальностей или (больше всего) дилетантов. Приходится выступать в печати, а в 2004 г. книга вышла значительно дополненным вторым изданием.

Приступив к работе над темой, я во многом изменил привычные принципы исследования, хотя историей науки о языке до того уже занимался и издал целую книгу по истории японоведения в России. Впервые я отказался от якоря и полностью вышел за рамки японистики, хотя тема хорошо подходила для института, поскольку академик Марр, до того, как ушел в ненаучную фантастику, был востоковедом, только не японистом, а кавказоведом. Но и писать я стал по-другому. И здесь я вспоминал своего отца. Он был убежденным коммунистом и марксистом, определив свои взгляды ещё в гражданскую войну, но в то же время любил говорить: «У нас все производительные силы и производственные отношения, а где человек?» Вероятно, он потому и обратился к истории науки, что там, помимо истории идей, можно заниматься и историей людей. Я много лет спорю со швейцарским историком науки о языке Патриком Серио, с которым нахожусь в научном контакте с начала 90-х годов. Он считает, что «лингвистическая эпистемиология» должна заниматься только идеями, а я отвлекаюсь на личности, и поэтому у меня марризм как учение оказывается производным от личных качеств Марра. Думаю, что здесь, как и во многих других случаях, истина лежит где-то посередине. Безусловно, правомерно ограничиваться историей идей, что я и делал в книге об истории изучения японского языка. Но наука делается людьми, и особенности той или иной личности накладывают всё-таки отпечаток на её развитие, тем более, если это столь яркая и нестандартная личность как Марр. Тут не могу не вспомнить когда-то многократно тиражировавшиеся, а сейчас забытые слова Ф. Энгельса о том, что именно Наполеон во главе Франции – случайность, но в обстановке того времени кто-то на его месте всё равно бы появился. Я никогда всё не сводил к личности Марра и писал, что популярность «нового учения» – популярность мифа: в годы, когда у нас еще верили во всемогущество науки и, вдохновляясь революцией, хотели «отречься от старого мира» во всём, включая науку, в нужном месте в нужное время оказался Марр с его безусловной харизмой. На его

месте мог быть и кто-то другой, и в этом случае многое могло бы пойти иначе. Было то, что было, и история идей от истории людей до конца неотделима, особенно в таких случаях.

И заниматься историей людей просто было интересно. И сам академик был привлекателен просто как нестандартная личность. Писатель и правозащитник Ю.А. Айхенвальд мне говорил, что Марр, несмотря на всю его фантастику, ему нравится, поскольку он был чудак, а чудачки украшают мир. И среди адептов учения Марра, и среди его противников было немало интересных людей, характеры которых в большинстве надо было восстанавливать на основе письменных текстов и отрывочных воспоминаний. Делая это, я лишний раз убедился, что ангелы и дьяволы встречаются редко. Мне часто вспоминались слова К.С. Станиславского: «Играешь плохого – ищи, где он хороший». Уже штампом стала формулировка «неоднозначная фигура», над которой издевался ещё К.И. Чуковский, но очень часто её нечем заменить. Ясно, что такими фигурами были и сам Марр, и его преемник академик И.И. Мещанинов. И как быть с вышеупомянутым Г.П. Сердюченко? Как уже говорилось, я его лично не знал, и надо было его облик реконструировать. В книге он оказывался однозначно отрицательным персонажем. Мне даже было неловко, поскольку в отделе продолжала работать его вдова. Однако он был основателем отдела, где я трудился много лет, и часть сотрудников сохранили о нем добрую память. Как тут быть?

И никак нельзя было обойти фигуру главного критика Марра – И.В. Сталина. И тогда, и сейчас сама постановка вопроса о неоднозначности его личности у большинства наших граждан вызывает ярость: для одних он гений, для других злодей, и любой анализ любых его поступков априорно основывается на уже готовой оценке. Когда я писал и издавал книгу о Марре, в обществе было принято говорить и писать о Сталине как «химически чистом зле» (те, кто думали иначе, тогда обычно молчали). Я не мог оправдать многие его действия, репрессии в первую очередь, но в истории с Марром плюсов оказывалось больше, чем минусов. Сталин не разобрался в генетике, не разобрался в кибернетике, но «новое учение» оценил верно, даже не столько с марксистских позиций, сколько исходя из здравого смысла. Недаром знаменитый Ноам Хомский оценил работу вождя как perfectly reasonable “вполне разумную”. Было там

немало разумного и в других отношениях, например, в том, что не надо отвергать дореволюционную науку (правда, современную западную лингвистику он не оценил: сказалась обстановка «холодной войны»). И травля серьезных языковедов (среди которых были мои учителя в МГУ), организованная Сердюченко и Ф.П. Филиным, была прекращена, и они получили возможность спокойно работать. Марристов (включая Сердюченко) осудили, сняли с руководящих должностей, но Сталин распорядился не арестовывать. Обо всём этом я написал, что было не в струе тогдашних разоблачений «усатого тирана». Но никто меня за это публично не осудил. Если книгу критиковали, то по «большому счету», как в случае П. Серио.

А революционная ситуация развивалась. Ещё когда я писал о Марре, я одобрял деятельность Горбачёва, хотя меня неприятно удивило сходство их любимых выражений. «Перестройка», «борьба с застоем», «новое мышление» – всё это когда-то говорил Марр, борясь с «буржуазной наукой». Очевидно, что Горбачёв Марра не читал, и здесь было, как говорят лингвисты, типологическое сходство. Теперь я в обоих случаях это оцениваю как демагогию. Забегая вперед, упомяну, что уже в 1998 г. я познакомился с Горбачёвым. Общий знакомый однажды привёл меня на заседание семинара в Горбачёв-центре. Кто-то попросил закрыть форточку, и Михаил Сергеевич сам встал на стул и это сделал. Человек, когда-то вершивший судьбами планеты! На семинаре я выступал и, видимо, не показался: больше меня туда не приглашали.

И обстановка в институте становилась всё более накаленной, хотя директор М.С. Капица, человек другой эпохи, старался, чтобы было тихо и мирно. Пытались организовать в институте, как в ряде других учреждений, «совет трудового коллектива» как параллельный дирекции центр власти; подобно «Московскому лингвистическому обществу», это оказалось излишним: Капица уступал позиции. Еще в начале 1988 г. «общественность» сломала процедуру избрания Ученого совета и добилась избрания примерно наполовину людей, не предусмотренных дирекцией; в их числе тогда впервые в учёном совете оказался и я. Впрочем, новый состав совета на конфронтацию с дирекцией не пошёл. Помню в 1989 г. собрание, на котором утверждались кандидатуры в народные депу-

таты от Академии. «Горлопаны», как их называл Капица, разработали общий для всех институтов сценарий и навязывали заранее составленный список, куда входили известные ученые, часто, однако, не созданные для публичной политики, вроде уже упоминавшегося С.С. Аверинцева. Я уже хотел выступить против навязывания, но раньше меня взял слово авторитетный сотрудник, причём сторонник «перестройки», и осудил стадность; его взгляды тут же разгромили. Тогда же один из моих коллег звал меня на митинг против готовившегося закона о КГБ. Я спросил, что такого плохого в проекте закона; оказалось, что мой собеседник его не читал и слышал лишь, что закон разработан самим КГБ, чего было достаточно для его априорного осуждения. Но всё же это напоминало столь часто тогда осмеиваемую фразу: «Я Пастернака не читал, но...», только из другого лагеря.

Действия «демократов», с которыми я поначалу мог солидаризироваться (я короткое время сотрудничал даже с «Мемориалом», считая, что всякую историю надо изучать, но прекратил контакты, увидев, что там заняты не столько историей, сколько современностью), всё меньше вызывали мое сочувствие. Я всё же был сыном коммунистов и, на что-то соглашаясь, не хотел ни декоммунизации, ни распада СССР. Окончательный перелом в моей душе произошёл 28 января 1990 г., когда я в Бресте, возвращаясь из уже не социалистической, но ещё единой Чехословакии, прочёл в газете о том, что Ельцин хочет стать Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Российские органы власти всегда были слабым местом советского государственного устройства, а их захват оппозицией означал создание параллельного центра власти и явно вёл к распаду единого государства. Всё так потом и получилось. Для меня действия многих моих друзей стали игрой с огнём. Но я старался не смешивать науку с политикой.

И в это тревожное время я не прекращал научной работы, а в конце 1990 г. получил ещё одну командировку в Японию, единственный раз за многие годы не в район Токио, а в Осаку. Мне, наконец, удалось (не считая совсем коротких поездок до того) познакомиться с западной частью страны, колыбелью японской цивилизации. Но я привык располагаться в изучаемой стране основательно, а тут я получил лишь месяц командировки, и только закончился период адаптации, как надо было уезжать.

И снова Москва, где ситуация всё осложнялась. В институте начался выход из КПСС, поначалу ещё не очень значительный. Но тогдашний секретарь парткома понял, куда дует ветер, и постарался избавиться от этой должности. Мало кто хотел в таких условиях её получить, хотя ещё недавно многие о ней мечтали: один из прежних секретарей, как мне рассказывали, после избрания пришёл в комнату парткома, сел в кресло и сказал: «Сбылась мечта идиота». Уговорили меня, и я вошёл в историю института как последний партийный секретарь (февраль–август 1991). Впервые в жизни в институте я получил собственный кабинет (я уже заведовал отделом, но свободного помещения там не было), но уже через несколько дней добровольно его лишился. Традиционно партком состоял из двух комнат: помещения для заседаний и кабинета секретаря; я понял, что сейчас это вызывает недовольство и отдал на общественные нужды большую комнату, втиснув всю деятельность парткома в бывший кабинет (сейчас здесь Японский центр института). Активной моя деятельность не была: жизнь шла мимо ещё существовавших партийных органов. Запомнилось за полгода лишь два события. Оставались люди, которые не замечали происходящего и жили прошлым. В партком обратился бывший сотрудник института, пенсионер, остававшийся на партийном учёте. В начале войны, выходя из окружения, он уничтожил партбилет, за что потом имел неприятности. В конце концов, его оставили в партии, но лишили довоенного стажа. И теперь он просил (вероятно, не в первый раз) этот стаж вернуть. Мы его даже поддержали, но в 1991 г. всё это теряло смысл. И по должности мне пришлось по требованию самих комсомольцев ликвидировать институтскую комсомольскую организацию. Много в моей жизни было связано с комсомолом, включая поездку в Сибирь, и мне было грустно, но делать было нечего. Последние комсомольцы института, помимо идейных соображений, оправдывали свою позицию тем, что вышестоящие комсомольские организации превратились в коммерческие структуры.

Сам характер моей научной деятельности менялся. Я участвовал в составлении списков репрессированных востоковедов, а весной 1991 г. уже немолодой тюрколог, фронтовик Фёдор Дмитриевич Ашнин (1922–2000) обратился ко мне за помощью. Он начал исследовать дела репрессированных языковедов, сосредоточившись на

так называемом «Деле славистов», по которому в 1933–1934 гг. пострадал ряд видных ученых разных специальностей, среди которых языковеды составляли значительную часть. Ему повезло с доступом в архивы тогда еще КГБ; поскольку он войну прошёл в погранвойсках, то считался ветераном органов (хотя к тому времени проникся перестроечным духом). Он отличался огромной аккуратностью и дотошностью в архивной работе (копировать и фотографировать не разрешалось, и он переписывал длиннейшие документы каллиграфическим почерком). Но писать ему было трудно, и он пригласил в соавторы меня: он добывал материал, а я писал текст. Позже и я благодаря Ашнину мог работать в архиве, поправляя и добавляя, а он иногда что-то приписывал к моим текстам. Фёдор Дмитриевич строго следил за тем, чтобы считаться основным автором, всегда требуя, чтобы его фамилия стояла везде первой вопреки алфавиту.

Позже, уже в первые постсоветские годы, именно он через своих знакомых связался с американскими советологами, заинтересовавшимися работой, обсуждался вопрос об издании там книги по-русски (был даже подготовлен текст для печати), но американцы в 1994 г. пригласили на конференцию в Энн-Арбор не его, а меня (первая моя поездка в США). Этого Фёдор Дмитриевич простить мне не мог, хотя я ничего специально для его вытеснения не предпринимал. Видимо, американцы побоялись пригласить старого и больного человека. Он хотел разорвать со мной сотрудничество, но это совпало с этапом издания книги в России, и деваться ему было некуда; в итоге мы продолжали сотрудничать, сделали еще одну книгу «Репрессированная тюркология», о которой я скажу дальше, и работали до его смерти в 2000 году. Однако он в отместку сообщил американцам, что я состою в компартии (впрочем, им могло не понравиться и моё выступление на конференции), после чего они прекратили общение и со мной, и с ним, а американское издание не состоялось. В Москве же книга, вчерне написанная мной в июне – августе 1991 г., еще при СССР, вышла в конце 1994 г. Я никогда не считал участие в работах, посвященных репрессиям 30-х гг., изменой своим взглядам. Что было, то было, и надо это изучать. Репрессии были, и оправдать их нельзя, но было в советское время и много другого, даже исправление Сталиным своей ошибки,

указанной Санжеевым. И обращали на себя внимание самые разнообразные вопросы, например, выше я писал о страданиях Б.Л. Личкова из-за невозможности побыть в одиночестве.

12 августа я закончил черновой вариант «Дела славистов», а через неделю начались всем известные события. Когда толпы собрались у Белого дома, стало ясно, что советскому периоду в нашей истории пришел конец. У нас ещё раньше были куплены билеты для поездки в Киев к родственникам жены на вечер 20 августа, и мы поехали. В Москве делать было нечего. Под Киевом я имел «удовольствие» смотреть по телевизору заседание Рады, закончившееся провозглашением независимости Украины, и сказал: «Скоро будем ездить на Украину по визам». Разрыв случился не сразу, первые годы обстановка на Украине мало отличалась от российской, но впереди, хотя и не скоро, были майдан и события 2022 года. Я как языковед, бывая поначалу на Украине довольно часто, обратил внимание на то, что взрослым в те годы особенно не мешали говорить по-русски, исключая официальные ситуации, но детей приучали к тому, что язык культуры – украинский, а русский – лишь бытовой (в советское время обычно считалось наоборот). Такая языковая политика, в конце концов, сработала, а отношение к русскому языку стало много хуже. Последний раз мы с женой были в Киеве летом 2013 г., когда всё было на вид спокойно, но после победы майдана ездить уже не хотелось (а раньше там бывали ежегодно): слишком тяжело, и уже никто нас там не ждал. С 2013 г. жена больше ни разу не была на родине, хотя перед смертью попросила похоронить урну в Киеве, а я был там с тех пор один день, когда привозил урну; памятник Ленину тогда уже был разрушен. Киевские родственники жены – больные люди, и не знаю, что будет с её могилой.

В Москву я вернулся 27 августа. В этот же вечер мне позвонила член парткома Е.А. Фомичёва, очень светлый человек (потом мы с ней восстанавливали парторганизацию), и плачущим голосом рассказывала про обстановку в институте: почти весь руководящий состав института, кроме Капицы, вышел из КПСС, а партком опечатан. На следующее дождливое утро я, несмотря на отпуск, поехал в институт. Капица, увидев меня, явно обрадовался, вызвал заведующую существовавшей последние дни секретной части и велел

нам вдвоём распечатать мой бывший кабинет, вынести оттуда переходящее красное знамя и ордена, которыми награждался институт, важные документы сдать в архив (архивариус А.О. Тамазишвили нам симпатизировал) и снова запечатать комнату. Директор должен был выполнять инструкции Президиума Академии. В опечатанной комнате лежала папка с заявлениями о выходе из партии (их почти не было от рядовых сотрудников, всё от зав. сектором и выше). Я не знал, что делать. Райкомы начали самораспускаться. Была отчаянная попытка сохранить нашу Дзержинскую районную организацию, полулегально собирались в здании какого-то техникума на Трифоновской улице, но бой был до начала проигран.

Настроение было тяжелое, я не мог смотреть телевизор, а вокруг многие находились в эйфории. Спасала, как всегда, работа. Моя книга об изучении японского языка в России и в умиравшем в те дни СССР издавалась в Японии, и как раз тогда мне прислали на проверку перевод. Книга, вскоре изданная, но плохо разошедшаяся (интерес к нашей стране там в 1991 г. резко пошёл вниз), до сих пор остается единственной моей книгой, опубликованной за рубежом (бывали лишь статьи на японском, английском, французском, португальском и турецком языках). А в сентябре я поехал в Бишкек (уже не Фрунзе) на конференцию к 100-летию со дня рождения выдающегося учёного Е.Д. Поливанова (теоретика и япониста), которым я много занимался. Меня хорошо принимали, но обстановка и там была напряжённой. Конференция шла в здании административных учреждений одного из районов города, заседали в зале райисполкома на первом этаже, а верхние этажи, где раньше находился райком партии, были опечатаны. По местному радио главной темой был выход компартий в Киргизии и соседних республиках из состава КПСС и их отказ от слова *коммунистический* в названии. Структуры старались сохранять, но история перечеркивалась.

Обстановка была сумрачной. Как-то действовала на нервы в начале зимы смена времени: непривычно рано становилось темно; в результате в середине зимы реформу отменили. Потом, отмечу, время несколько раз меняли, и сейчас вернулись к тому, что безуспешно вводили в конце 1991 г., но сейчас почему-то это такой тоски не вызывает. Институт функционировал вроде бы как обычно, но пропала уверенность в том, что произойдет завтра, которая раньше всегда была. Всё время куда-то избирали, за что-то

голосовали. Недавно умерший китаист Л.С. Васильев, яркий антикоммунист, на одном из таких собраний заявил, что всё равно через год Академии наук не будет, а нам надо спасать институт и искать ему «крышу». В феврале 1992 г. вьетнамист Павел Познер, теперь тоже покойный, объявил план, по которому институт выходит из Академии и преобразуется в частный фонд, естественно, под его руководством; он пообещал всем при этом значительно повысить зарплату. Прошло бурное собрание, на котором институт раскололся не по идейным, как тогда постоянно бывало, а, если угодно, по классовым признакам. Ведущие специалисты от коммунистов до антикоммунистов отнеслись к этой идее прохладно, зато за неё ухватились сотрудники без степени и хозяйственная часть, надеявшиеся на лучшие заработки. Собрание кончилось ничем, но в итоге Познеру не хватило денег на создание фонда. Панические прогнозы не оправдались, а институт до 2013 г. оставался в Академии, после этого разделив судьбу других аналогичных институтов, подчинившись некоему ФАНО, сейчас названному Министерством науки. Но я пережил это уже в другом институте.

После августа 1991 г. сотрудники института, часто очень сильные, начали разбегаться, в том числе и из Отдела языков. С.А. Старостин в январе 1992 г. блестяще защитил докторскую диссертацию и почти сразу после этого вместе со всей созданной к тому времени вокруг него группой сравнительно-исторического языкознания перешёл в только что образовавшийся Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Тогда распространялась идея о том, что гуманитарные факультеты МГУ и соответствующие академические институты – чуть ли не «мракобесие», а РГГУ будет создаваться на основе мировых стандартов. Там, в том числе, был создан и факультет (позднее институт) лингвистики (то есть лингвистический, а не филологический), который возглавил бывший сотрудник нашего Отдела языков Александр Николаевич Барулин, под началом которого я когда-то ездил на Сахалин. Туда звали «передовых» ученых, первоначально там и платили лучше, чем в Академии. Мне не предлагали там постоянно работать, но всё же пригласили читать курс истории языкознания (других кандидатур не нашли). Потом постепенно идея «элитного» университета западного типа стала уходить в песок, преобладавшие среди преподавателей-лингвистов выпускники всё того же отделения, где я

учился, создали Институт лингвистики по его образцу и подобию, а Барулина через несколько лет «ушли». Но институт (фактически факультет) в РГГУ существует. Два учебных лингвистических центра всегда лучше, чем один, а сейчас появился и третий в Высшей школе экономики.

90-е годы вызывают и сейчас очень эмоциональное отношение, причем самое различное. Так случилось, что мне в ноябре 2005 г. пришлось два дня подряд присутствовать на двух похоронах членов Академии наук в ритуальном зале его здания около памятника Гагарину. Эти годы в первый день в одной из речей были названы «лихолетьем», а на следующий день я услышал формулировку «благословенные 90-е». Если можно считать, что самая тяжелая первая половина 90-х гг. принесла мне и что-то хорошее, так это то, что я впервые, оставаясь в своем институте, получил возможность полноценного преподавания. До того оно было лишь эпизодическим. И в МГУ, где на заведование кафедрой пришел А.Е. Кибрик, и в РГГУ я с 1993–1994 гг. начал читать большой курс истории лингвистики и читаю его до сих пор (с 2018 г., правда, лишь в МГУ). Курс я создавал самостоятельно, хотя и использовал традиции, созданные преподававшим его в мои студенческие годы В.А. Звегинцевым.

Что касается исследовательской работы, то она до конца 1992 г. шла не очень уверенно, опять шли поиски темы. Книга о Марре как раз тогда вышла в свет, но я этим уже переболел. Опять помогала работа «в стол». Я начал писать рассчитанные на достаточно широкого читателя рассказы о жизни и деятельности ученых, близких мне о специальности. Написал я их в 1991–1992 гг. около десятка, даже не думая о том, где и когда это будет напечатано. Лишь в конце 2011 г. я издал книгу «Языковеды. Востоковеды. Историки», основу которой составили тексты двадцатилетней давности, к которым, впрочем, добавились и новые. Один из рассказов затем, как и в случае с Марром, начал разрастаться. Меня заинтересовала личность члена-корреспондента АН СССР Николая Николаевича Поппе; с нее лишь незадолго до этого было снято табу. Это был крупный исследователь Монголии: языковед, филолог и историк, который в 1942 г. перешел на сторону гитлеровцев и вторую половину жизни провёл в США. Он жил долго и как раз в 1991 г. умер, о нём у нас тогда еще

не успели всерьёз написать. У меня опять сама собой получилась целая книга (моя задача облегчалась тем, что Поппе оставил воспоминания, которые, однако, ввиду постоянного самооправдания автора требовали критического отношения). Я старался подойти к этой бесспорной в сфере науки и сомнительной в человеческом плане личности объективно, без эмоций, хотя трудно отбросить эмоции, когда Поппе пишет примерно следующее: большевики убивали всех, а гитлеровцы только евреев; поскольку я не еврей, то предпочёл нацистов. Но я решил, что и такие темы не следует обходить. Книга была быстро написана в 1993 г. и в 1996 г. напечатана. В «Независимой газете» появилась в целом положительная рецензия, где меня хвалили за то, что я не побоялся написать о научных заслугах запрещенного при советской власти ученого, но раскритиковали из-за того, что я осудил его за переход к немцам, хотя он «выбрал свободу». Такая рецензия для меня была хуже отрицательной, но делать было нечего, я не стал на неё отвечать.

Но с конца 1992 г. на несколько лет главной областью моих занятий стала социолингвистика, теперь тоже уже не японская, а отечественная, и в основном не в историографическом плане. Для Института востоковедения это была актуальная тема. Сначала доклады на конференциях и небольшие статьи, а потом тоже получилась книга. Я почувствовал, что такая книга в тот момент была нужна. В советское время, особенно в 50–80-е гг. много внимания уделялось социолингвистике, в том числе и в Институте востоковедения, где в начале 70-х гг. был создан специальный сектор во главе с Л.Б. Никольским; я в нём не состоял, но, как уже было сказано, с ним сотрудничал. Однако писать о языке и обществе было легче про Японию; когда я готовил в начале 2000-х гг. свою написанную ещё в советское время книгу ко второму изданию, мне почти не пришлось в ней что-либо менять; только фразы об СССР пришлось, увы, переводить из настоящего времени в прошедшее. Но когда пишешь о своей стране, всё сложнее. Социолингвисты, нередко знающие и добросовестные люди, до 1991 г. писали о расцвете и равенстве языков в стране, а приводимый ими фактический материал не всегда это подтверждал. Теперь они находились в замешательстве, а их место заполняли публицисты, заявлявшие о большевистском «языковом геноциде» и «навязывании админи-

стративными инстанциями русского языка». Те и другие рассматривали все годы с 1917 по 1991 как нечто единое. Нужна была обобщающая работа. Я вчерне написал книгу в 1995 г., но в следующем году удалось поехать на два месяца в Нидерланды (самая моя длительная поездка за границу вне Японии) для библиотечной работы. Я опять планировал заняться и грамматикой японского языка, а реально просидел оба месяца над зарубежной литературой по социолингвистическим проблемам СССР, убедившись, что многие работы там были объективнее, чем наши (хотя были и крайне недоброжелательные, особенно эмигрантские публикации). По возвращении я намного расширил книгу. Через год она вышла под названием «150 языков и политика» с подзаголовком «1917–1997», потом было второе, дополненное издание, где подзаголовок уже был «1917–2000».

Мне было важно показать, что советская языковая политика в разные периоды была весьма различной: в первые годы после революции исходили из благородных, но часто утопических представлений о том, что каждый народ огромной страны во всех случаях жизни должен пользоваться родным языком. Навязывание кому-либо русского языка осуждалось. То есть нечто прямо противоположное мифическому «языковому геноциду». Предлагали даже (впрочем, безуспешно) русским партийным работникам, отправлявшимся, например, в Узбекистан, переходить с русского языка на узбекский. Единственным препятствием казалось недостаточное развитие многих языков, например, отсутствие письменности; крупные лингвисты создали несколько десятков алфавитов. Но оказалось, что сами просвещаемые народы, если вообще к чему-то стремились, то чаще к освоению русского языка, без которого нельзя было подняться наверх, а не к познанию мировой культуры на своём языке. Потом, со второй половины 30-х гг., политика изменилась в сторону внедрения русского языка, без которого в едином государстве никак обойтись было нельзя. Оно иногда проводилось жестко, но в целом редко вызывало массовое неприятие до начала перестройки. И опять одним из моих героев оказывался И.В. Сталин, нарком по делам национальностей после революции. И тут он не поддавался однозначным оценкам, поскольку в разные периоды вёл разную языковую политику. Вопреки расхожим стереотипам он в начале 1920-х гг.

говорил, что городские украинцы и белорусы скоро обязательно перейдут с русского языка на свои национальные. А потом, уже дойдя до высшей власти, взял с 1930-х гг. курс на русский язык.

О языковой политике пришлось говорить и спорить много. Я написал и издал также большую статью, где сравнивал российские языковые ситуации с соответствующими японскими на протяжении нескольких столетий. После всего этого за мной закрепилась репутация социолингвиста, и сейчас в Институте языкознания, оставив по возрасту должность директора, заведую центром социолингвистических исследований. Однако я чувствую известную неловкость: от данной темы в нынешней ситуации не уйти, а я живу во многом старым багажом, накопленным во время работы над «150 языками». Хочется заниматься и другими сюжетами, и на накопление социолингвистического материала не хватает времени и сил, остаётся в основном общее руководство.

И тут особенно чувствуется необходимость думать над тем, как наше слово отзовется. Забегая вперед, скажу о достаточно неприятной ситуации, в которую я попал уже в совсем недавние годы. Еще в 1983 г., когда работал над главой в так и не изданной «Истории советского востоковедения», я в библиотеке им. Ленина откопал старые публикации. В них говорилось о проекте перевода русского языка на латинский алфавит, разработанном группой серьезных лингвистов во главе с выдающимся ученым Н.Ф. Яковлевым в 1929–1930 гг. Мой рассказ об этом вышел лишь в конце 1990-х. И эту тему с моей подачи подхватили, о чём я вовремя не подумал, далекие от науки публицисты и журналисты, причем не либерального, а как раз русско-патриотического толка, а затем, когда этот толк стал поддерживаться сверху, и видные СМИ. Проект латинизации, затем отвергнутый Сталиным, выдвинула по собственной инициативе группа интеллигентов-энтузиастов, не занимавших административных постов и увлеченных, прежде всего, научной стороной дела. Но историю с латинизацией раздули до невероятных масштабов. В нескольких телепередачах (там интервьюировали и меня, оставив затем из сказанного отдельные фразы, вырванные из контекста) доказывали, что после 1917 г. большевики покушались на Россию и всё русское, в том числе на русский язык; в одной из передач доказывали, что они отказом от кириллицы хотели уничтожить русский культурный код. Вопреки фактам утверждали, что

латинизацию навязывали сверху, хотя должны были признать, что проект не осуществился; при этом на экране промелькнул Сталин, но назвать его фамилию не решились. Тут я спорил и опровергал, но «с царями трудно вздорить». Однако если бы первым об этом проекте написал кто-нибудь из официального лагеря, вероятно, было бы еще хуже.

Разумеется, я всегда оценивал нашу историю иначе, это было одной из причин того, что я, особенно активно в начале 90-х гг., не бросая науку, занялся общественной и партийной деятельностью, по-настоящему впервые в жизни. Например, я в советское время ни разу не был в Мавзолее (в школе, не помню, по каким причинам, нас не водили), впервые там оказался в декабре 1991 г. и потом бывал в 90-е гг. неоднократно. Компартия полтора года была запрещена. На её месте образовались группки и группочки; я вместе с оставшейся частью коммунистов института примкнул к Социалистической партии трудящихся, наименее радикальной из них. Когда в феврале 1993 г. разрешили как новую партию КПРФ, мы перешли туда. Я исходил из того, что раз я вступил в партию в годы, когда это было выгодно, то нельзя её бросить, когда всё переменялось. Восстановили институтскую парторганизацию в сильно уменьшенном составе (потом он таял ещё больше, дойдя в последние годы до трех человек, теперь осталось двое, включая меня), где я сначала продолжал считаться секретарем. Потом я это передал Фомичёвой, а сам был избран в горком, где в разных ипостасях состоял до 2018 г. (уже в недавние годы недолго был и в ЦК), иногда что-то делаю и сейчас. В те годы я ходил на митинги и демонстрации, на собрания и дискуссии, много писал для левой печати местного значения. И я видел, что эта деятельность не всегда была эффективна, хотя общественный запрос на неё был, а молчать не хотелось. Не знаю, насколько всё это принесло пользу.

Но я не жалею: бывало интересно. Снова, как в комсомольские годы, общественная деятельность давала мне возможность знакомиться с интересными людьми. К левому движению прибывали все: в начале 90-х гг. я там встречал и троцкистов, и антропософов, и поклонников Н.Ф. Федорова, и левых социал-демократов, и многих других. Потом окружение стало более однородным. А с тем, что я писал по текущей обстановке не только в левой прессе (В.Т. Третьяков печатал меня в «Независимой газете»), я часто и сейчас согласен.

Одна из моих статей 1992 г. называлась «Колочая проволока в Донбассе»; речь, естественно, шла не о реальности того времени, а о перспективах. Увы! Лучше бы я ошибся. И в том же году разговор с С.А. Старостиным, крупнейшим ученым, но рассуждавшим о политике в духе стереотипов того времени. Он говорил, что пережили тяжелую зиму, но теперь всё позади, и мы скоро станем нормальной западной страной. Я не согласился и также оказался прав. Но я чувствовал, что не могу всецело отдаться общественной деятельности, продолжая думать о науке и заниматься наукой. Вспоминался Некрасов: «Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом». Песни мешали больше. Но совсем политику не бросаю и сейчас.

Сразу после августа 1991 г. было неясно и то, какие кары могут быть за деятельность такого рода; ещё раз этот вопрос встал в октябре 1993 г. Так получилось, что тогда мы оказались не в Москве: в отпуске в Кисловодске. Там было спокойно, и только запомнились слова медсестры санатория: «Какой ужас в Москве творится, а тут ещё Лаура умерла!» (речь шла о персонаже сериала «Просто Мария»). Не было никаких кар. В институте о вышесказанном что-то было известно, возможно, что за моей спиной меня и осуждали, но почти никогда мне в глаза ничего не говорили. Настроения в институте и, шире, в интеллигентской среде, уже не всегда были такими, как летом 1991 г. Помню, как уже в декабре того же года я попал в Колонный зал на вечер, посвященный юбилею Н.М. Карамзина. Когда артист начал читать филиппики Карамзина против «демократов – либералистов», зал взрывался бурными аплодисментами. Были, конечно, и убежденные антикоммунисты, но их было не так много, в том числе в институте, откуда к тому же часть их к тому времени ушла в РГГУ и ВШЭ или уехала. Так что исход выборов Думы 1993 г., единственных выборов, в которых я принимал очень активное участие, дежуря ночью в штабе, был закономерен. Тогда я впервые за несколько лет испытал, пусть недолгую, радость, касавшуюся политики. Радовали меня не результат КПРФ (он был скромным, хотя это было лучше, чем ничего) и тем более не успех Жириновского, а неудача (относительная, но всё же...) глубоко мне несимпатичного «Выбора России». В этом лагере было немало моих добрых знакомых, немало хороших ученых, но движению я не мог простить ни распад СССР, ни утверждение дикого капитализма.

А в институте именно тогда моя карьера пошла вверх: в октябре 1994 г. я стал заместителем директора примерно с теми же функциями, которые когда-то были у В.М. Солнцева (я как бы повторил его путь: к 1994 г. он был директором Института языкознания, как и я впоследствии). В тот год в институте сменилась вся директорская команда. Капица уже плохо себя чувствовал и был раздавлен событиями, к которым не был готов. Он был рад по истечении срока покинуть свой пост и вскоре умер. Тогда уже было положено выбирать директора на альтернативной основе. Реальными претендентами были Р.Б. Рыбаков и В.В. Наумкин, перед этим заместители Капицы. Наумкин сделал упор на придание институту более современного облика, а Рыбаков предлагал сохранять то, что есть. Люди к тому времени устали от слишком быстрых перемен, и Рыбаков получил преимущество. Наумкину пришлось ждать должности директора ещё пятнадцать лет, потом вскоре попав под возрастные ограничения.

Мне нужно было освободить должность заведующего Отделом языков в связи с переходом в заместители директора. Отдел к тому времени перенёс ряд потерь и заметно уменьшился в составе. Когда встал вопрос о новом заведующем, уже не помню, кому первому пришла в голову кандидатура З.М. Шаляпиной. Она сперва казалась неожиданной: её лаборатория занимала несколько обособленное положение в отделе. Однако все сразу её поддержали, и она, сохраняя заведование лабораторией, стала возглавлять весь Отдел языков и руководила им больше, чем кто-либо другой: около четверти века, оказавшись очень на месте.

Система Зои развивалась и совершенствовалась, постепенно всё больше её захватывая; затем прибавились дела отдела. В конце концов, она принесла в жертву и свою страсть к путешествиям. Вскоре после 1979 г. она ещё раз съездила в Японию на конференцию, всего на несколько дней, и побывала в Киото. А потом, если не ошибаюсь, она никогда уже в этой стране не была. В профессиональном отношении это ничего не давало, а на познание мира времени уже не было. И вообще она редко в последующие годы выезжала за пределы Москвы и Подмосковья. Она вела политические споры, когда их многие избегали, но в годы «перестройки» и «возращения в мировую цивилизацию» Зоя стала чуждаться политики. Я, наоборот, стал одно время заниматься этим, но привлечь Зою уже не удавалось, хотя взгляды она не меняла: она осознанно «песни» предпочла политике.

В отделе сформировалась спокойная, домашняя обстановка, почти исчезли склоки, которых когда-то было немало. Сотрудникам мало платили, но хотя бы не мешали работать. В отличие от некоторых других отделов института приходила молодёжь: играли роль традиции ОСИПЛ и созданного во многом по его образцу Института лингвистики РГГУ. А сотрудничество лаборатории с практическими организациями сделало её чуть ли не единственным подразделением института, приносившим ему пусть небольшой, но доход. К этому времени уже стало ясно, что дают и что не дают системы автоматического перевода: какие-то ожидания оказались завышенными, но наиболее разработанные системы, пусть с постредактированием, дают результаты. С Зоей Михайловной я продолжал контактировать и после ухода из Института востоковедения в 2012 году. Временами перезванивались. Последний раз мы долго общались во время конференции Отдела в апреле 2018 года. Потом я узнал, что она болеет.... Заведовать отделом стал Антон Коган, человек нового поколения, до того много ей помогавший. Безусловно, Зоя была не только видным учёным и организатором науки, но и просто хорошим человеком. А это много. Но у меня после неё связи с Отделом языков совсем ослабли.

Я занимал должность зам. директора восемнадцать лет при двух директорах. Сразу отмечу, что отношения в дирекции бывали всякими, но конфликты если бывали, то не на политической почве: другие ее члены не были коммунистами, но и по-настоящему заядлых демократов там не было. Психологически сложнее было из-за того, что новый директор был любителем застолий, к которым меня никогда не тянуло, но бывало нужно их посещать. Недавно умерший Рыбаков, с которым у меня установились нормальные деловые отношения, честно выполнял обещанное, стараясь, насколько возможно, сохранять институт в прежнем виде. Смена должности расширила круг дел и обязанностей, дала мне, наконец, кабинет, но, когда я спустя много лет стал директором другого института, то понял, что дистанция между директором и его заместителем по науке больше, чем между зам. директора и зав. отделом. За восемнадцать лет я всерьёз не занимался ни хозяйственными, ни коммерческими делами (иногда лишь участвуя в коллективных обсуждениях на заседании дирекции, не неся ответственности), и осваивать

это в конце седьмого десятка было тяжело. Всерьёз мне это пришлось на ходу осваивать в Институте языкознания, что мне аукнулось даже после моего ухода с должности.

Из новых видов деятельности запомнились поначалу частые посещения по должности приемов в разных посольствах: какое-то время это бывало любопытно, но довольно однообразно. Знакомых было мало, а завязывать дружбу в таких ситуациях я никогда не умел. И в то же время... Как-то в японском посольстве мне встретился модный писатель Л. Рубинштейн, с которым я познакомился на подмосковной летней школе по лингвистике для детей (его дочь, участвовавшая в школе, потом училась у меня в РГГУ), мы поздоровались. Далее шёл Г.А. Зюганов, с ним я тоже поздоровался. И я подумал, что я, может быть, единственный из многочисленных присутствующих, кто знаком и контактировал с обоими. Но меня довольно много приглашали в посольства до начала 2000-х гг., а потом всё реже и реже, и к концу пребывания в институте прекратили совсем. Видимо, поняли мою неконтактность.

Мы чувствовали, что наука перестала быть престижной сферой деятельности. Доходило до крайностей, особенно в период усиленного «возвращения в мировую цивилизацию». Однажды в 90-е гг. меня пригласил в свой кабинет сотрудник института и познакомил со своей дочерью, попросив её вразумить. Она поступила с японским языком в ИСАА, но подруги уговаривали её бросить университет, поскольку они без высшего образования во всяких фирмах зарабатывают лучше, чем выпускники вузов. Я постарался вразумить, потом забыл об этой истории. Но как-то уже под самый конец моей жизни в институте этот отец с гордостью показал мне изданную в Москве книгу японского автора, переведённую дочерью. Не знаю, подействовали ли мои слова, но всё-таки она японский язык, к счастью, не бросила. Сейчас она преподаёт его в Дипломатической академии. Другой случай в те же 90-е годы связан с моей однокурсницей, занимавшейся французской литературой. Она после многих лет преподавания устроилась в фирму, где не столько переводила, сколько подавала чай и отвечала на телефонные звонки, но сразу стала больше получать. У неё уже была на подходе докторская диссертация. Она всё же защитила ее в академическом Институте мировой литературы, а потом повела учёных в ресторан, где

члены диссертационного совета тогда из-за недостатка денег не могли бывать. Вот такие парадоксы! Действительно, лихолетье.

Правда, отделение структурной и прикладной лингвистики сохраняло (и сохраняет до сих пор) традиции, укреплявшиеся в экспедициях. Если, например, аспирантов-экономистов Институт востоковедения не мог найти (все способные люди шли в бизнес), то Отдел языков не знал недостатка в желающих (опять-таки с филфака и РГГУ больше, чем из ИСАА). Впрочем, далеко не все потом закреплялись в институте: аспирантура воспринималась еще как продолжение студенческой жизни, а потом соблазнов более высоких заработков бывало слишком много. И всё-таки сейчас в отделе языков есть старшее поколение (теперь это в основном люди моего возраста), провал среди тех, кому 50–60 лет, но дальше от сорокалетних до совсем молодых люди есть. Иногда в отдел приходили уже сложившиеся специалисты с лингвистическим образованием: О.В. Столбова, Е.Л. Рудницкая, ещё раньше С.А. Крылов.

Нам мало платили, престиж профессии и уверенность в завтрашнем дне сильно уменьшились, но в профессиональном плане долго нас не трогали и нам не мешали. Высокое начальство о нас вспоминало редко, совсем, как советское руководство, которое мало вмешивалось в дела Академии до 1929 года. Вмешательство новой власти в академическую жизнь началось лишь тогда, когда я был уже в другом институте, это особая тема. А в 1990–2000-е гг. мы сами могли придумывать себе темы, печататься более или менее было можно. Ещё вариант испытания свободой!

У меня после «Дела славистов», книги о Поппе и «150 языков» следующей темой стало обобщение результатов многих лет преподавания. В 1995 г. А.Е. Кибрик посоветовал мне написать учебник по моему курсу. Через год, в конце лета 1996 г., сдав в печать книгу о языковой политике, я сел за учебник. Обычно я пишу книги или очень медленно, с многолетними задержками, как «Слово и части речи» и «Теоретическую грамматику японского языка», или очень быстро, как писал «Язык и общество» и Марра. Последний способ работы был применён и здесь. К Новому году я написал объёмистый текст, аналога которого в то время у нас не было (сейчас кое-что появилось): имевшиеся учебники либо слишком сильно устарели, либо охватывали лишь части лингвистической науки, например, только русское языкознание. Я привёл в окончательный вид

свои идеи по лингвистическим традициям и рассмотрел мировую науку двух последних веков. Первое издание учебника вышло в начале 1998 г., а теперь уже появилось пятое, дополненное издание.

И занимался я историей науки иного рода. Тот же Ф.Д. Ашнин предложил новую работу: о репрессиях среди тюркологов (сам он был тюркологом по специальности). Уже больной, из последних сил он продолжал упорно собирать материал, где, правда, не удалось избежать белых пятен: Азербайджан, Казахстан и Киргизия пустили его в архивы, а Узбекистан и Туркмения отказали. Опять Федор Дмитриевич собирал материал, а я обобщал и писал текст. По сравнению с предыдущей книгой более значительным оказывался исторический фон: много надо было осмыслять в связи с советской политикой 20–30-х гг., тем более что тогда в тюркских республиках СССР было мало профессиональных лингвистов, а по вопросам языка часто высказывались государственные деятели и писатели. Вот лишь один пример. Почему Сталин устранил в тюркских республиках коммунистов, освоивших русскую и, шире, европейскую культуру, и был более благосклонен к тем, кто был воспитан в мусульманских традициях? И история людей давала разнообразный материал. Выяснил для себя я, например, общее правило 1937–1938 гг.: единственным шансом спастись (не считая каких-то счастливых случаев) было одно: выдержать пытки и ни разу не подписать признания. И такие люди всё-таки были. Книга вышла уже после смерти моего соавтора, в 2002 г. На этом тема репрессий для меня закончилась: я не был ветераном НКВД и после смерти Ашнина не был допущен в архивы. Параллельно с «Репрессированной тюркологией» я написал и издал небольшую книгу «Москва лингвистическая» с краткими биографиями полутора десятков работавших в Москве в XIX–XX вв. языковедов с разными судьбами.

Но еще с середины 90-х годов неожиданно для себя я начал заниматься ещё одной историографической темой, которая не отпускала меня два десятка лет. В своей научной жизни я иногда выбирал тему занятий сам: так было с изучением японского языка в России, с языком и обществом в Японии, с языковой политикой в СССР. Но не раз мне требовался толчок извне, и кто-то предлагал мне тему, о которой я и не помышлял, но которая оказывалась для меня интересной. Так было и с Шаститко, и с Ашниним, так слу-

чилось и на этот раз. 24 октября 1994 г. меня в аудитории МГУ после занятия поймал совсем не знакомый мне человек и начал меня горячо убеждать помочь ему в публикации материалов, связанных с Валентином Николаевичем Волошиновым. Это был Николай Алексеевич Паньков, тогда работавший в Витебске. В.Н. Волошина я знал как автора приобретавшей в 90-е гг. популярность загадочной книги «Марксизм и философия языка» (1929, сокращенно МФЯ). О нём было известно очень мало, но уже распространилась версия о том, что подлинным автором книги был не Волошинов, а его знаменитый друг Михаил Михайлович Бахтин. Мой учитель В.А. Звегинцев, недостаточно владея материалом, даже считал, что Волошинов – псевдоним Бахтина; я, следуя ему, сначала написал то же самое в рукописи книги о Марре (в опубликованном тексте успел исправить). К 1994 г. уже было известно, что Волошинов существовал, но вышедшее незадолго до этого первое за много лет переиздание МФЯ публиковалось в серии «Бахтин под маской» (Бахтину приписывались и другие работы, издававшиеся под именами его друзей). Но необходимо было, прежде всего, разобраться в том, кем был Волошинов, а Паньков нашёл документы о его обучении в аспирантуре. Это был пламенный энтузиаст изучения всего связанного с Бахтиным и его друзьями; он больше десяти лет издавал сначала в Витебске, а потом в Москве единственный журнал, специально посвященный М.М. Бахтину и так называемому его кругу. Паньков пригласил меня участвовать в нём.

В 1994 г. мы довольно долго беседовали в опустевшей аудитории на разные темы, так или иначе связанные с Бахтиным и Волошиновым. Я был далёк тогда от того и другого, но мой собеседник настолько подействовал на меня своим напором и своей убежденностью, что, вернувшись к вечеру домой, я тут же сел за пишущую машинку (компьютера еще не было). Получились два текста, как-то связанные с тематикой журнала; один Паньков опубликовал, другой – нет. С Паньковым мы с тех пор много сотрудничали, я печатался не раз в его журнале. Но он прекратился по недостатку средств, а сам Николай Алексеевич умер в 2014 г., не дожив до шестидесяти, от ужасной болезни – рассеянного склероза.

С тех пор я стал писать на эти темы. Я скоро пришел к выводу, которого потом всегда придерживался: текст МФЯ писал Волошинов, но какие-то идеи ему мог подсказывать Бахтин. Однако важнее

всё-таки было понять не слишком внятно изложенные в книге теоретические положения. С этим к тому времени было немало путаницы: очень уважаемые люди называли эту книгу то структуралистской, то антимарксистской под «маской» марксизма. Прочитав книгу внимательно, я убедился в том, что марксизм там вполне принимается, но речь в основном идет не о нём, а структурализм в лице Ф. де Соссюра и Ш. Балли решительно отвергнут. Для моего курса истории лингвистики и вскоре написанного учебника МФЯ оказался исключительно важен как редкий для эпохи господства структурализма пример попытки найти ему альтернативу. Но Паньков подкидывал мне ещё документы для комментирования, я внимательно читал и МФЯ, и связанные с книгой статьи, и лингвистические работы самого Бахтина, в основном написанные уже в 1950-е годы. Как и в других описанных выше случаях, у меня в результате получилась книга под названием «Волошинов, Бахтин и лингвистика», однако вызревание книги заняло больше времени, чем обычно: она вышла только в 2005 г. Я поставил в названии Волошинова на первое место вопреки и алфавиту, и табели о рангах: Бахтин и так знаменит (хотя языковеды чаще украшают свои публикации цитатами из классика по разным поводам, чем по делу используют его лингвистические и другие идеи). Волошинову же всю жизнь не везло: он мало написал, не был признан, рано умер от тяжёлой болезни (Бахтин пережил своего ровесника почти на сорок лет), а посмертно у него еще и отобрали его сочинения.

В связи с моими занятиями по этой тематике я почти единственный раз получил всерьёз отклик из-за рубежа. Бахтин там с 60-х гг. очень популярен, и постепенно внимание обратили и на МФЯ и другие книги его друзей. Зарубежные специалисты в данной области читают по-русски и учитывают то, что пишут в России; в том числе заметили и мои публикации. А, чисто научные сюжеты оказались сильно политизированы. Волошинов в итоге принял советский строй и пытался стать марксистом, Бахтин, судя по всему, был в 20-е гг. к этому учению близок (хотя в старости это отрицал), но к концу жизни, после множества постигших его бедствий, сильно изменил точку зрения. Отсюда и версия о «маске», основанная на том, что будто Михаил Михайлович и в 1920-е гг. глубинно ненавидел марксизм, но для цензуры выдал МФЯ за сочинение своего лояльного к власти знакомого. Я пытался вычитать из текста

борьбу с марксизмом, но не смог это сделать, тем более что речь там, в основном, идет о другом, а объекты критики всё же – позитивизм и структурализм как его законченное выражение. Но, как известно, из любого гуманитарного текста можно при желании вычитать то, что хочется вычитать. Оказалось, что на Западе борются «правые» и «левые» бахтиноведы (первые преобладают в Америке, вторые в Европе), а у нас в 1990–2000 гг. чуть ли не все были «правыми», считая главной заслугой Бахтина не вклад в науку, а борьбу с «тоталитаризмом». «Левые» бахтиноведы в Европе обычно отвергают идею «маски» и признают авторство Волошинова. Ниша «левого» бахтиноведа в России не была заполнена, я специально не стремился в неё попасть, просто хотел разобраться в данных проблемах, не сводя всё к политике и взаимоотношениям науки с властью. Но, может быть, поэтому мной в Европе на некоторое время заинтересовались, в том числе звали на конференции, напечатали несколько статей, а в 1999 г. пригласили на месяц в Великобританию, где я мог две недели работать в Шеффилде, центре британской бахтинистики, а потом ещё две недели – в библиотеках Глазго и Лондона. После 2008 г. всё это заглохло.

Другой темой, которая некоторое время привлекала в европейских странах внимание, была связанная с Бахтиным и Волошиновым проблема марксизма в языкознании, тут мне тоже удалось напечатать несколько статей. Там «неомарксизм» достаточно распространён (в том числе и в социолингвистике); исследуют, например, языковую демагогию не только в СССР или фашистской Германии, но и в речах М. Тэтчер. При этом среди предшественников всегда называют Волошинова (не Бахтина). Однако в последние годы я занимаюсь этим меньше, чем раньше, и мои международные контакты по этой линии тоже стали угасать. Последнее, в связи с чем на меня обратили внимание за границей, – это уже упомянутая история предпринятого мной описания попытки латинизировать русский язык.

Несомненным приобретением для меня со времён «перестройки» стали поездки на международные конференции. Особенно часто с 1986 по 2013 гг. я ездил на Постоянную международную алтаистическую конференцию (PIAC), где я был, по моим подсчетам, 21 раз. Организатором и многолетним руководителем их

был Денис Синор, американский учёный венгерского происхождения, с которым я был знаком с Парижа в 1973 г. до конца его дней (умер он на 95-м году жизни в 2011 г.). Это был интересный человек, страстный путешественник, уже в очень пожилом возрасте побывавший и на Северном, и на Южном полюсе. Он старался проводить ежегодные конференции в полудомашней обстановке, иногда в замках или монастырях, с постоянным составом участников. Алтайскими языками считают тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, корейский и (не всегда) японский. Многие из них распространены на территории СССР / России, и отечественная наука всегда занимала и занимает в исследованиях алтайских языков и культур значительное место. Синор организовывал конференции с 50-х гг., советские участники там бывали, хотя не часто, а еще до горбачёвских времен, в 1984 г. американский профессор специально приехал в Москву договариваться о постоянном участии наших востоковедов в ПИАКах и проведении одной из конференций в тюркской республике СССР. В Отделе языков он рассказывал о своем путешествии через Гималаи из Китая в Пакистан, где передвигаться было небезопасно. В Москве профессор оказался на попечении И.Ф. Вардуля и А.Н. Барулина, которые окружали его с двух сторон, не подпуская меня. Но потом оба по разным причинам потеряли интерес к ПИАКах, а я без специальных усилий пробился в их постоянный состав, хотя японский язык нетипичен для алтайской тематики (его даже не все считают алтайским). Первой была конференция в Ташкенте в 1986 г. в чисто советском стиле, совершенно выбивавшаяся из общего камерного духа, задуманного Синором. Масса народа в огромных залах, игравшие роль кофе-брейков выходы во двор, где стояли гигантские чаны с пловом. Потом, однако, мы приспособились к общему стилю, начиная с ПИАКа в Осло в 1989 г. Тематика была разнообразной, лишь бы речь шла об алтайском мире, включая японский. Но, главное, была возможность ездить в разные страны: помимо Европы, мы бывали и в США (штаты Юта и Индиана), и ещё раз в Японии, а в 1992 г. удалось даже (одними из первых среди соотечественников) попасть в ещё недавно запретный Тайвань. Туда я съездил даже раньше, чем в КНР, куда я тоже впервые попал по линии ПИАК. После ухода из Института востоковедения я постепенно отошёл от этих поездок.

Позже у меня установились контакты с центром по изучению советской науки о языке, который организовал в Лозанне (Швейцария) уже упоминавшийся П. Серио; сейчас он вышел в отставку, и его место заняла моя бывшая студентка в МГУ Е. Вельмезова. Я пять раз, начиная с 2002 г., был на конференциях в Швейцарии. И там общий дух похож на дух ПИАК: несколько раз заседания проходили в аббатстве Кре-Берар, где мы были совершенно одни и гуляли по окрестностям с большим количеством пасущихся коров. Рассматривались и проблемы марксистской лингвистики, и судьба идей знаменитого швейцарского ученого Ф. де Соссюра в России, а одна конференция была посвящена Марру. Здесь моё сотрудничество продолжается и сейчас: это единственная нить, еще связывающая меня с зарубежной наукой. Но общаемся теперь в основном по зуму.

С 90-х гг. появилась возможность ездить по миру не только на конференции. У нас было немало семейных туристических поездок в разные страны и на разные континенты, кроме лишь Австралии и Антарктиды. Стало можно ездить туда, куда раньше попасть было очень трудно или вовсе невозможно, а путешествовать по России (кроме отдельных мест вроде Сочи) стало тяжелее: собственный туристический бизнес у нас развит слабо, а там, где он есть, цены часто выше, чем для поездок куда-нибудь в Турцию. И, как я уже упоминал, стали сокращаться, особенно по срокам, мои поездки в Японию. Сейчас надежд на них, видимо, не осталось совсем.

В начале века они всё же бывали, но на срок не более месяца и только раз на полтора месяца. Я всё-таки набирал какую-то информацию, насколько можно было успеть, теперь уже в основном не по грамматике. За три поездки с 1997 по 2007 гг. ее набралось на небольшую книгу «Япония: язык и культура» (издана в 2008 г.). Она по тематике отчасти повторяла написанную ранее книгу о языке и обществе, но я смог рассмотреть ряд сюжетов, о которых раньше мало думал: японские языковые картины мира, языковой аспект японского национализма и другие. Все мои поездки были либо в Токио, либо на пути между Токио и Хиросимой. Моя мечта объездить Японию так и не осуществилась, я ни разу не выезжал за пределы главного японского острова Хонсю. В последний раз из Института востоковедения я попал в Токио на четыре дня на конференцию, посвященную крупному русскому японисту

Н.А. Невскому, весной 2012 года. Символично, что через несколько дней по возвращении мне предложили перейти из Института востоковедения в Институт языкознания, откуда я всё же попал на шесть дней в Киото в 2019 г.

Но вернусь в 1990–2000-е годы. В период, когда институтом руководил Р.Б. Рыбаков (1994–2009), после нескольких сумбурных предшествующих лет снова воцарилась стабильность. Постепенно шла смена поколений, менялись научные приоритеты, но кардинальных перемен было мало, кроме, пожалуй, одной: в первые годы нового тысячелетия от института отделилось входившее в его состав с 1950 г. Ленинградское / Петербургское отделение. Оно и раньше всегда во всём, кроме финансирования и кадровых проблем, было автономно от Москвы, а теперь оно, как и другие прежние петербургские филиалы академических институтов, решило стать полностью самостоятельным. По первоначальному распределению обязанностей в дирекции я курировал петербургскую часть института, иногда, хотя не часто, туда ездил, познакомившись с Ж.И. Алфёровым. Но теперь эта часть решила отделяться, я сначала был против, но потом понял, что сопротивление безнадежно. Был образован Институт восточных рукописей (хотя там работают не только филологи, но и историки и лингвисты) во главе с И.Ф. Поповой, на избрание которой я ездил от института в Петербург. Она в результате разделения поссорилась с Рыбаковым, а при новом директоре я ездил специально для замирения, прочитав для этого там доклад на нейтральную тему: о японской лингвистической традиции и ее особенностях. А в Москве вплоть до 2009 года открытых конфликтов в институте почти не было. Вспоминая те пятнадцать лет, приходят в голову написание и издание книг, научные командировки и туристские поездки, приёмы в посольствах, взаимоотношения с академическим руководством в Отделении литературы и языка (позднее – Отделении историко-филологических наук) и в президиуме РАН. Начальства иного рода мы не видели. На общих собраниях Академии изредка выступали Путин (впервые через несколько месяцев после избрания президентом) и Медведев, но всерьёз нами они тогда ещё не занимались.

При довольно значительном объёме преподавания в Москве (я ещё несколько лет читал общее языкознание и социолингвистику в частном Институте иностранных языков) я уже редко выезжал в

другие города. Преподавание во Владивостоке у меня закончилось в 1997 г., потом я в 2003 г. месяц читал сразу несколько курсов в Университете иностранных языков имени хана Аблая в Алма-Ате. В университете висело объявление, приглашавшее студентов на собеседование для поступления в американскую военную академию в Вест-Пойнте, в Москве я такого не встречал. В городе преобладала русская речь, хотя встречалась и казахская; аналогичная ситуация была и в Ташкенте, где я ещё раз побывал в самом начале 1999 г. В Узбекистане в это время переходили с кириллицы на латиницу (переходят по сей день), и запомнился уличный плакат: ёлка, календарь и надпись: «С Новым годом!». Надпись была по-узбекски латиницей, а «31 декабря» на календаре – тоже по-узбекски, но кириллицей. Позже, как я слышал, в Средней (ныне Центральной) Азии стали обсуждать необходимость отмены ёлок и вообще Нового года, поскольку это не мусульманский обычай. Однако при мне до этого было ещё далеко, так же, как до латинизации в Казахстане, теперь начавшейся. В Алма-Ате я был, когда арестовали Ходорковского. Я ему не симпатизировал, но это был знак перемен в стране, тогда ещё не сказавшихся на делах Академии.

И была разного рода просветительская работа. Я упоминал уже про лингвистические олимпиады, в которых активно участвовал с 1965 г. до самого последнего времени. Другое общественное дело – летние школы по лингвистике для детей в разных местах под Москвой, начавшиеся с 1992 г., я бывал там почти ежегодно более двадцати лет и читал там много лекций на самые разные темы. Я, конечно, рассказывал о том, чем занимался, находя темы, которые могли бы быть интересны детям; но иногда лекции давали мне ключ для научных исследований. В 1995 г. я, работая над книгой о языковой политике в СССР, прочел лекцию детям, и когда её читал, вдруг понял, что и как надо писать в теоретической главе книги, в которой анализировал проблемы двуязычия. Рассказал детям, а в Москве включил в рукопись книги. Иногда я, в основном в начале 90-х гг., писал для журнала «Знание – сила». А уже в 2000-х гг. литературовед из РГГУ С.Д. Серебряный затеял книгу, где гуманитарии разных специальностей должны рассказывать взрослому читателю – неспециалисту о своих науках. Я написал такой текст, но, как когда-то «История советского востоковедения», издание не состоялось. Мой текст на этот раз не пропал: я в расширенном виде

его издал в виде небольшой книги «От Аристотеля до компьютерной лингвистики» для широкого круга читателей только сейчас. Издание помечено 2018 годом.

У меня в эти годы менялся общественный статус. Я, никогда не имел вузы основным местом работы, специально не добивался звания профессора и шестнадцать лет был «просто доктором». Однако в 2000 г. меня утвердили в профессорском звании по представлению МГУ. А в 2008 г. меня с пятой попытки (в точности повторилась ситуация с моей матерью) избрали членом-корреспондентом РАН (академиком я стал уже в другом институте). Помимо денежной доплаты, меня стали приглашать на заседания бюро академического отделения (хотя полноправным членом бюро я стал уже в Институте языкознания, выведен в 2022 г.) и два раза в год на общие собрания. В 2009 г. я впервые (и пока единственный раз) выступил на таком собрании во время дискуссии об изучении мозга, подняв вопрос о его лингвистических аспектах. Я никогда не был экспериментатором (ещё в мои студенческие годы А.Е. Кибрик мне сказал, что эксперимент – не моя область), но логика научных исследований к тому времени привела меня к штудированию работ по психолингвистике и нейролингвистике. Я понял, что много лет мучившая меня проблема того, что такое слово, может быть решена лишь при обращении к этим сюжетам. Я снова переписывал «Слово и части речи» и начал писать (и продолжаю) статьи об этом.

Снова забурлил институт в 2009 г., когда истёк третий пятилетний срок директорства Рыбакова. К тому времени стало чувствоваться, что он, что называется, пересидел на своем месте, начало чувствоваться общее недовольство. Директор колебался, идти ли ему на четвертый срок, советовался с дирекцией, всё же решился. Соперником, как и пятнадцать лет назад, оказался В.В. Наумкин. Голосование в институте закончилось почти вничью, за Рыбакова было на два голоса больше. Но решало Отделение историко-филологических наук. Заседание отделения было бурным, против Рыбакова и всей дирекции высказывались обвинения, во многом не соответствовавшие действительности. Итог голосования оказался в пользу Наумкина. Я просто по должности должен был защищать Рыбакова, к тому же другая сторона вела себя не очень корректно. Тем не менее, Наумкин предложил мне остаться в прежней должности; вероятно, роль сыграл статус члена-корреспондента. Меня

лишь переселили в другой кабинет (третий по счёту за годы зам. директорства). Новый состав дирекции я уже много лет знал, это были тоже люди моего поколения, но, конечно, многие привычки надо было менять.

Обстановка в новой дирекции была менее дружеской, но более деловой. Наумкин, ныне академик, безусловно, значительная личность. Это редкий пример сочетания в одном лице востоковеда классического типа и специалиста по современным международным проблемам. В чём-то стали возрождаться времена Примакова, только без третирования «традиционного цикла», к которому директор сам причастен. Стали более активными связи со Старой площадью, где место ЦК партии заняла Администрация президента, и Смоленской площадью, где в МИДе после завихрений времен Козырева и моего бывшего друга Кунадзе возобладали проверенные традиции. Я от таких дел был отставлен, Наумкин возложил на меня текущие аттестации сотрудников.

Но в целом всё шло, как и раньше. Последним из того, что я издал в Институте востоковедения, стала уже упоминавшаяся книга «Языковеды. Востоковеды. Историки», где собраны два десятка биографий отечественных ученых специальностей, обозначенных в названии. Она по жанру сходна с более ранней книгой «Москва лингвистическая», но теперь состав «героев» стал частично другим, а очерки расширились. Одни жили до моего рождения, других я знал, и отчасти рассказы приобретали характер воспоминаний. В том числе я писал и о людях из Института востоковедения, в частности, о двух директорах: Гафурове и Капице. Сюда же я включил и воспоминания о своих родителях. Пожалуй, именно они вызвали в книге наибольший интерес. Фрагменты из той книги вошли и в эти воспоминания. Издав книгу персоналий, я в очередной раз, наконец, последний, вернулся к своей вечной рукописи «Слово и части речи». Как раз в это время мои более начитанные в современной западной науке друзья-лингвисты посоветовали мне прочесть ряд монографий и сборников по изучаемым темам. В марте 2012 г. я занимался этим и в разгаре чтения получил возможность навесить на четыре дня Токио. Книга в 2018 г., наконец, вышла под грифом Института востоковедения.

Когда я 1 апреля 2012 г. вернулся, то оказалось, что меня уже разыскивал академик-секретарь, предлагавший новое место работы. У меня никогда не возникало мысли покинуть Институт востоковедения, но решил рискнуть и перейти в Институт языкознания в качестве директора. Я покинул мой институт 19 июня. До 2015 г. я оставался на полставки в Отделе языков, но потом меня сократили, и я остался связанным с Институтом востоковедения только как «посторонний» член Ученого совета, заседания которого стараюсь не пропускать. За эти годы во всех академических институтах ситуация резко ухудшилась, но пока они существуют. Может быть, я ещё вернусь в «свой» институт. Кто знает?

ГЛАВА 4. О КАТЕ

Вспоминая свою жизнь, не могу не сказать о жене Кате (Екатерине Александровне Стеценко) (19.05.1946, Киев – 21.07.2018, Москва). Она ушла раньше меня и первой успела написать воспоминания, которые я после её смерти опубликовал: *Е.А. Стеценко. Не дать исчезнуть. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019* (Чебоксары лишь место юридического адреса издательства, с нашей жизнью никак не связанное). Иногда мне хочется с ними спорить или как-то их дополнить, но понимаешь, что можешь обращаться только в пустоту.

Познакомился я с будущей женой летом 1955 г. в Киеве, где она жила. Мне было десять лет, ей девять. В Киеве у нашей семьи ещё с довоенных лет были хорошие знакомые – Николай Павлович и Ирина Дмитриевна Хотяинцевы, потом появились их сыновья Серёжа и Вова. С Сергеем Хотяинцевым, моим ровесником, в 90-е годы переселившимся в Мексику, мы переписываемся по электронной почте и сейчас. У старших Хотяинцевых в Киеве была своя постоянная компания, состоявшая из «технарей» и их жён, иногда тоже с высшим образованием, но в большинстве не работавших. Летом все они поселялись в украинской деревне Балыки недалеко от Киева на Днестре (ныне затоплена Каневским водохранилищем), куда дважды приглашали и нас. В первый раз туда ездили только мои родители, а во второй раз ещё тётя, мамина сестра, и я. Была там и Катя, единственная дочь другой пары из той же компании.

Мы познакомились в Киеве, а затем месяц жили в Балыках. С ребятами купались в Днестре, лазили по горам, где ещё оставались следы войны: в траве мы находили ржавые автоматы и человеческие кости. При наступлении 1943 г. возле Балыков была устроена ложная переправа через Днестр для обмана немцев, и погибли там многие. Мой родной дядя, брат отца, погиб тогда под Киевом (подробности мы никогда не знали), и отец говорил мне, что, может быть, на этой горе лежит твой дядя Александр. Катю я видел всё время, но признаюсь, что большого интереса друг к другу у нас не было: не тот возраст. Моя мама среди бегавших вокруг детей ставила Катю на второе место после Серёжи, говоря, что девочка интересная, но капризная. Спустя много лет я имел неосторожность рассказать Кате об этом отзыве, и она, вообще недолюбливавшая свекровь, обиделась.

Потом мы разъехались. Через четыре года я ещё раз приезжал в Киев со своим дедушкой, Катю видел, но интереса по-прежнему не было. А за последующие годы, с лета 1959 по зиму 1973, она для меня как бы не существовала. Отец и сын Хотяинцевы часто приезжали в командировки в Москву, рассказывали о знакомых, но про Катю говорили редко, и у меня в памяти осталось лишь одно: что она, окончив школу, поступила в Политехнический институт; это меня не удивило. Это был крупный вуз с традициями, восходившими к дореволюционным временам, дававший хорошую профессиональную подготовку. В Киеве без блата поступить было намного труднее, чем в Москве, но у инженеров из связанной с нами компании знакомства в этом институте обычно были. Я долго думал, что она где-то пребывает на рядовой инженерной должности: женщины в этой сфере редко добивались успеха.

Наступил 1973 год. В деловом отношении всё у меня было благополучно. Я окончил аспирантуру академического Института востоковедения и был зачислен в штат, где проработал до 2012 года. Защитил диссертацию и был занят подготовкой к печати книги на её основе (недавно она вышла пятым изданием). Появилась возможность поехать на несколько месяцев в изучаемую Японию (где я ещё не был) в качестве переводчика на космическую выставку, и этот год, столь мне памятный, я закончил в городе Симидзу. Но жить с родителями уже было всё труднее. Я чувствовал, что пора менять условия жизни. И как раз в конце предыдущего года мне окончательно стало ясно, что девушка, интересовавшая меня со студенческих лет, мне не подходит (дальнейшее это подтвердило). Я оказался на перепутье.

В конце января в Москву в командировку приехал Сергей Хотяинцев и остановился, как обычно, у моей тётки, у которой после смерти дедушки была свободная комната. Помимо решения деловых вопросов он пригласил нас на бракосочетание (в этом году у них с женой Наташей в Мексике была золотая свадьба). Он рассказал тётке об общих знакомых, а она потом пересказала это мне. История Кати была для меня неожиданной. В Политехническом институте она, оказывается, училась всего год, а потом оттуда ушла. И ушла сама, не имея задолженностей. Просто поняла, что «измерительные приборы», по которым должна была специализиро-

ваться, не для неё, и отправилась в никуда. С большим трудом, гигантскими усилиями преодолевая отсутствие блата, она через вечернее отделение с последующим переходом на дневное (что допускалось лишь при всех пятёрках) окончила романо-германский факультет университета, потеряв в общей сложности три года. Теперь она, не имея возможности попасть в аспирантуру, оформилась соискателем и писала диссертацию по американской литературе, найдя себе хорошую руководительницу Тамару Наумовну Денисову, с которой они потом дружили всю оставшуюся жизнь. Но были две нерешаемые проблемы. Даже защитив диссертацию, в Киеве нельзя было устроиться на научную или на преподавательскую работу, и Катя была вынуждена сидеть в отделе информации технического НИИ без дальнейших перспектив трудоустройства. Также она оставалась не устроенной и в личной жизни: была не замужем.

Тётя всё это мне рассказывала, а я вдруг неизвестно отчего подумал: «Вот мне и жена». Почему подумал? Конечно, к этому времени я был душевно настроен на некоторую волну, но почему работало именно здесь? Многолетнее знакомство явно не играло никакой роли. А вот разрыв с Политехническим институтом был для меня значимым. Правда, такой поступок может свидетельствовать в разных контекстах и о самостоятельности и решительности, и о взбалмошности и импульсивности. Не знаю, как бы я его оценил, если бы был его непосредственным свидетелем. Но через семь лет стало ясно, что, как пишет Катя в воспоминаниях, этот шаг «все считали безумием», но он «оказался одним из самых правильных поступков в моей жизни». Оказал он влияние и на наши взаимоотношения после их возобновления. Важно было и то, что Катя оказалась человеком моей среды, профессионально мне близким. Я, правда, не знал тогда её научный уровень, но и здесь, как оказалось, не ошибся.

И всё же почему нашло такое озарение? По воспитанию и привычкам я – человек абсолютно рациональный. Но в другом месте пишу, что в детстве я три раза точно предсказал смерть малознакомых или совсем не знакомых людей, в том числе однажды за восемь лет определил время смерти. Объяснить это я не могу. А в выборе невесты ничего похожего на описываемый случай у меня не было, но, впрочем, и жена у меня за все эти годы была одна. А я к

моменту озарения Катю не видел с детства и не очень представлял, как она выглядит взрослой. Об этом озарении я никогда ей не рассказывал и решился это сделать лишь перед её смертью, когда она уже не вставала с постели. Она внешне никак не прореагировала и ничего не сказала.

В другой ситуации я вряд ли бы поехал в Киев, а тут уговорил тётю, и мы поехали. Я боялся только одного: что Катю не узнаю. Впервые я её увидел возле дворца бракосочетаний на улице, тогда называвшейся улицей Чекистов, и сразу опознал. В первый день пили у невесты, а во второй день перешли к жениху. Ирина Дмитриевна, рассаживая гостей, зная, что я не женат, посадила меня между потенциальными невестами Таней и Катей. Таня тоже была девочкой из той же компании, потом была свидетелем у Кати на свадьбе, мы продолжали с ней дружить до 2013 г., когда она разошлась с нами во взглядах на майдан и перестала общаться. Но я глядел уже только на Катю и пошёл её провожать. Потом контакты продолжались, переписывались мы и когда я был в Японии. В августе 1976 г. в Москве состоялась свадьба.

Катя пишет в воспоминаниях о жизни в Киеве до замужества: «Личная жизнь никак не складывалась, с поклонниками мне фатально не везло, как будто судьба выбрала для меня другой путь и не давала, причем очень порою жестко, с него свернуть». Опять судьба, неужели она действительно есть? И в целом вариант оказался удачным, не повезло лишь с детьми, но при Катиной наследственной болезни (поликистоз почек) это было исключено.

Сразу после свадьбы мы поехали диким образом в Ялту, объездили южный берег от Судака до Херсонеса. Я убедился в том, насколько она любила путешествовать, это передалось ей от отца. Их семья ездила не только в Балыки, к тому времени они на «Москвиче» объехали Крым, Кавказ, Карпаты, Прибалтику, а Катя вместе с вышеупомянутой Таней забиралась на Байкал и плавала с туристской группой на понтонах по сибирской реке Мане. Страсть к путешествиям, находившая поддержку у меня, потом сыграла большую роль в нашей жизни. Но тогда Катя ещё не бывала за границей: противопоказаний не было, но не было и возможностей. Правда, её отцу однажды предложили длительную командировку в Индию, но он не решился. Катя потом иногда говорила: «Была бы я сейчас индологом».

В Крыму шёл сложный процесс привыкания друг к другу, продолжавшийся в Москве, для Кати он проходил труднее, чем для меня. В Москве надо было снимать квартиру, три года мы жили сначала в Тёплом стане, потом в Тропарёве. Первые месяцы Катя нигде не была устроена: с Киевом рассчиталась, а в Москве с работой было не ясно. О том, чтобы стать домохозяйкой с высшим образованием, как Катина мать, речи, разумеется, не было. Профессия и специализация были выбраны окончательно, надо было лишь найти соответствующее место работы. Я даже знакомил её со своими однокурсниками, работавшими в Библиотеке иностранной литературы: может быть, по моему мнению, стоило бы пробиться туда. Но главным для неё было закончить диссертацию о категории времени в американском южном романе. К началу 1977 г. диссертация была готова, но оставалось неясным, где её защищать.

Пришлось, как бы Кате ни было неприятно, обращаться к знакомствам. Мою мать как раз в декабре 1976 г. избрали с пятой попытки в члены-корреспонденты Академии наук, что сразу увеличило её возможности: быстро обозначились желающие заранее обеспечить себе голос на следующих выборах. Мама решила не мелочиться и пробиваться в Институт мировой литературы, единственный академический институт в Москве, где специально занимались, в том числе, зарубежной литературой. Помощь подоспела, и в мае 1977 г. Катя была зачислена младшим научным сотрудником в группу американистов; предшествующей должностью был инженер отдела технической информации в Институте электродинамики в Киеве. В Институте мировой литературы (ИМЛИ) она проработала 41 год до последних дней жизни, пройдя разные ступени: младший научный сотрудник – старший научный сотрудник – ведущий научный сотрудник – заместитель директора по зарубежным литературам; уйдя с последней должности по возрасту, ещё побывала главным научным сотрудником.

Такой скачок в биографии принёс много радости её тогда уже больной маме, которая умерла в 1979 г., но не вызвал восторга в ИМЛИ. Тут можно процитировать воспоминания самой Кати. «С моей точки зрения моя история выглядела так – серьезная девочка из интеллигентной семьи, получившая красный диплом, по независящим от нее объективным обстоятельствам не смогла поступить в

аспирантуру, но все же написала диссертацию и благодаря повороту судьбы получила, наконец, возможность заняться любимой профессией в соответствующем институте. Однако, как я и предполагала, с точки зрения моих коллег, это выглядело иначе – наглая провинциалка выскочила за москвича, родители которого сумели ее по благу впихнуть на место, которого она не заслуживает». Разумеется, с последней ситуацией сотрудники ИМЛИ сталкивались нередко, а Катю ещё не знали, и научную состоятельность надо было доказывать. К тому же и сама моя жена первоначально ощущала многочисленные комплексы, ей казалось, что она не вписывается в уровень института. Поначалу её включили в реферативную группу. Однако одновременно была представлена её диссертация, к которой сначала отнеслись с предубеждением, но потом приняли в защите без существенной переработки, а защита в ноябре 1978 г. прошла успешно. Постепенно Катя начала освобождаться от комплексов, а американцы стали её нагружать написанием разделов для коллективных трудов. Она стала там своей.

Избрание матери в Академию имело и другие последствия: она сделала заявку на квартиру в тогда только строившемся академическом доме на Ленинском проспекте. Поначалу не было ясно, кто поедет туда, а кто займёт старую квартиру на 2 Песчаной улице, где наша семья жила с 1952 года. Мой папа после второго инфаркта резко сдал, и мама всё не могла решить, где ему при всех болезнях будет лучше, и переигрывала варианты, что раздражало Катю. В итоге в конце 1979 г. на Ленинский проспект переехали мои родители, где отец через год умер от третьего инфаркта, и осталась одна мама. А мы с Катей поселились в квартире, где я жил с первого класса (с перерывом на Тёплый стан и Тропарёво) и где живу по сей день. Для Кати это была не просто новая квартира, но первая (и последняя) в жизни её квартира и почти первая *квартира*, а не коммуналка и не съёмное жильё (в Киеве она с родителями переехала в отдельную квартиру за год до отъезда в Москву). На новом месте она прожила больше половины отмеренного ей срока жизни. Иногда она строила планы расширения жилплощади, мечтала, например, присоединить к нашей двухкомнатной квартире соседнюю однокомнатную, но это было нереально, а её в основном устраивали и квартира, и район с несколькими парками и хорошим по меркам тех лет обслуживанием.

Первый год на 2 Песчаной (в то время именовавшейся улицей Георгиу-Дежа) ушёл на ремонт довольно запущенной квартиры и покупку мебели, в основном сохранившейся и сейчас. Об этом она подробно пишет в воспоминаниях и из описаний видно, насколько ей всё это было интересно. Женское стремление вить гнездо в ней было сильным при всей нацеленности на профессию. А в те годы она рассказывала об этом знакомым, приезжая в Киев; вышеупомянутая Ирина Дмитриевна слушала с интересом, но удивилась: «Зачем тебе второй письменный стол?» В её мире это был атрибут мужчины. А я убедился в том, что уступаю жене в характере и что если бы мы оба стали бороться за свои права, то семейная жизнь у нас не сложилась бы.

Персонаж «Петербурга» А. Белого раз в год устраивал в своём доме грандиозные балы и этим жил, а его жена, названная в романе умной женщиной, решила ни в чём не мешать мужу в организации балов, а за это приобрела в доме власть над всем остальным. Вот и я интуитивно понял, что самое важное для меня надо огородить, а в том, что мне не казалось значительным, уступить Кате, умевшей устроить быт. Главным для меня была работа, для Кати во многом тоже, специальности были близкие, но всё же разные, и у каждого здесь была своя жизнь. Огораживать здесь было и не нужно, Катя никогда не вмешивалась ни в мои научные занятия, ни в мою деятельность в Институте востоковедения, где у меня всегда хватало общественных, а потом и административных нагрузок. Меня же она поначалу, пока не была уверена в себе, просила прочесть и оценить кандидатскую диссертацию и другие ранние работы, поскольку я был опытнее. Потом это не было нужно. Она же мной написанное никогда не читала. Исходя из моей хорошей памяти и знания многих мелких фактов, она посчитала меня в науке фактографом, а не теоретиком, тогда как она любила философствовать. Другой важной для меня областью были политические взгляды, здесь приходилось иногда огораживать. Мы часто спорили на эти темы, не уступая друг другу, но в спокойные времена, когда общественные противоречия в стране подспудно накапливались, но наружу обычно не выходили, они не играли существенной роли в наших с Катей отношениях. Изменения произошли уже при перестройке, о чём я расскажу дальше.

С этим была связана только одна серьёзная для нас проблема: взаимоотношения с моими родителями. С Катиными родителями у меня проблем не было, а здесь имелись сразу несколько факторов. Мои отец и мать были членами партии (и я по их примеру уже был им тоже), и не только по формальной принадлежности, но и по взглядам. Катя, по её словам, до замужества вообще не знала, что такие взгляды бывают (или если и бывают, то лишь у необразованных людей). Вокруг неё в Киеве, а потом в ИМЛИ были, конечно, люди, соблюдавшие ритуалы по карьерным соображениям, но это были обычно циники, способные показать кукиш в кармане. А коммунистические идеи, с её точки зрения, были давно мертвы. Я был воспитан иначе и знал немало людей, веривших в советские лозунги (после 1991 г. оказалось, что их не так мало). Маму передёргивало, когда Катя что-нибудь говорила положительное о Солженицыне. Но она понимала, что у невестки дальше застольных разговоров дело не шло, ни в митингах, ни в кружках она не участвовала, и мать не считала эту сторону жизни главной, тогда как для Кати всё было гораздо существеннее (я говорил, что чёрный расизм сильнее белого).

Для родителей важнее было другое. Отец, чувствующий, что силы уходят, а научный потенциал ещё сохранялся, ограничивал себя во всём, кроме работы и попечения над котом Феропонтом Вторым, и всё время проводил за письменным столом (писал до последнего дня). Взаимоотношения с невесткой его мало волновали. Он лишь страдал из-за того, что, по его мнению, оба его сына (был ещё сын Игорь от первой жены) женились на некрасивых. Катя не была писаной красавицей, но в своей среде умела производить эффект, со вкусом одевалась и, как подчёркивает в воспоминаниях, имела, «по нынешним временам, почти модельную внешность». Однако у отца сохранялись представления о женской красоте, восходившие к его родному хутору Сибилёву. Это, по сути, традиционные крестьянские представления, о которых писал ещё Чернышевский. Худые женщины плохо годились для сельского труда и потому считались некрасивыми. Но отец мало об этом думал, погрузившись в историографию.

Мать волновала не внешность. Но при совершенно другом происхождении в её поведении было нечто, заставлявшее вспоминать рассказы отца о хуторе Сибилёве, где свекрови настраивали сыновей против невесток, говоря: «Она тебя не почитает». Ей хотелось, чтобы невестка почитала и меня, и её. Её идеалом была скромная,

тихая и почтительная интеллигентная девушка, но я выбрал жену, как нередко бывает, похожую на мать. У них даже биографии кое-где сходились вплоть до того, что в разные годы одна была директором, а другая – заместителем директора в академических гуманитарных институтах. А сходство разъединяет.

Моя тётя любила говорить про их отношения: «Две медведицы в одной берлоге не уживаются». Им надо было делить меня, больше было некого. Катя не выносила маминых звонков по нескольку раз в день, а маме не нравилось, что Катя при ней не улыбается. На деле это имело большее значение, чем оценки Солженицына. Моя жена очень не любила, когда я говорил о сходстве её со свекровью, полагая, что различия в отношении к власти и начальникам свидетельствуют о полном несходстве, однако от общих знакомых я не раз слышал замечания о похожести их характеров. Эмоции по отношению к моим родственникам, включая и тётю, сохранились у неё и через много лет после их смерти, что неоднократно проявляется в воспоминаниях, где она здесь очень необъективна, но я не хочу это обсуждать.

Но в отношении к жизни и моральным проблемам мы с Катей находили много общего между собой и легко понимали друг друга. Во всём же связанном со сферой быта и ежедневными проблемами мир в семье обеспечивался тем, что я не имел и не добивался права голоса. Катина жизнь сложилась так, что она на работе по объективным обстоятельствам постоянно оказывалась в подчинённом положении и должна была сдерживать себя. Так было не только в качестве корректора или в отделах информации, но долгое время и в ИМЛИ, где приходилось подстраиваться к более солидным коллегам. Тогда работников оценивали, как иногда говорили, по сумме деловых и политических качеств; с политическими качествами у Кати было неважно (хотя диссиденткой она никогда не была), но из деловых качеств больше всего ценились исполнительность и организованность. Здесь она всегда была на высоте, особенно в ИМЛИ, где каждый считает себя гением и часто не снисходит до элементарного выполнения правил. Это сказало уже в 2004 г., когда её сделали заместителем директора: выдвинувший её новый директор А.Б. Куделин говорил, что при консультациях с сотрудниками никто не сказал о ней плохого слова, а что касается административных способностей, то задолго до того её киевская подруга

Ира говорила, что Катька умеет раздавать работу. Но оборотной стороной сдержанности среди сослуживцев стало то, что она в ИМЛИ, не испортив почти ни с кем отношений, не приобрела новых близких друзей. Все они остались в Киеве, где общение становилось всё более эпизодическим, некоторые умерли, а в 2013 г. часть из них стала рвать отношения с теми, кто живёт в России.

Сдержанность с посторонними приводила к накоплению напряжённости и требовала разрядки дома. В Киеве, а потом во время приездов в Киев, пока был жив отец, разрядка падала на него (мать она очень любила и не трогала). А в Москве приходилось терпеть за всех мне. Видимо, это было закономерно. Я в другом месте привожу совет начальника народной дружины Института востоковедения, дававшего мне советы по выбору жены: «Не бери умную – будет тебя воспитывать; не бери глупую – будет скучно; бери среднюю». Мне как-то средние не попадались, выбирать пришлось между двумя полюсами. Одна сильно меня любила, но чувствовал, что с ней очень скучно. Выбрал (или выбрала судьба) Катю, с ней скучно никогда не было, но воспитывала она меня постоянно. Когда она уже не вставала с постели, а я стоя слушал её указания, мне сказала сиделка: «Что это Вы всё в углу стоите».

Но интересность перевешивала, а изруган я был чаще за дело и должен был раскаиваться. Так и жили, часто ездили в Киев, где тогда почти все, кроме отдельных интеллигентов, говорили по-русски, а отношение к москвичам было вполне хорошим. Иногда путешествовали, тогда ещё только по своей стране. Ездили по Волге, на Соловки, на Кольский полуостров и в другие интересные места. Тогда бывали и экскурсии на несколько дней от месткома. Иногда ездили с тестем, но он, потеряв жену, не приспособился к быту, заболел желтухой (видимо, отравился несвежими продуктами) и умер (последний месяц мы с Катей жили с ним в Киеве) вечером 31 декабря 1983 года.

Кате очень хотелось побывать и за границей, что сначала не получалось, но помогло то, что ИМЛИ был связан с Союзом писателей, и институту давали несколько мест в писательские турпоездки. Сначала надо было два раза съездить в соцстраны, потом можно было ездить и дальше. Как она пишет, в первый раз, «выйдя из поезда на будапештском вокзале, я испытала какое-то непередавае-

мое чувство свершившегося чуда». Было это в 1980 г. Ещё до перестройки была командировка в ГДР, а затем туристическая поездка в Грецию. Вдвоём ездить за границу в качестве туристов не полагалось: вдруг сбегут, но иначе относились к деловым поездкам на длительный срок. Я в сентябре 1984 г. отбыл в третью и самую долгую поездку в Японию на 10 месяцев. Жёны могли приехать на месяц, процесс оформления, не вызвавший трудностей у меня, оказался сложным и тяжёлым у Кати; по-видимому, чиновники ожидали взятки. Но всё было преодолено, 21 апреля она была в Токио. В Москве тогда немногим более месяца правил Горбачёв, а американские и японские СМИ гадали, будет ли он жёстче своих предшественников или всё останется, как было. Поездка была великолепной. Никто нас не трогал, можно было сколько угодно и куда угодно путешествовать. В учебнике географии Японии были указаны три самых красивых вида в стране, и мы съездили во все три. Как пишет Катя в воспоминаниях, «пожалуй, ни в одной стране не чувствовала я такого духовного умиротворения, не видела такого эстетизированного ландшафта».

Катя вернулась в Москву в день поворотной речи Горбачёва в Ленинграде, где он провозгласил ускорение, а вскоре он объявил и перестройку. Всё пошло не так, как сперва прогнозировали на Западе. Катя не слишком обращала внимания на постепенное ухудшение качества жизни, важнее были возможность чувствовать себя свободнее, говорить то, что раньше не полагалось, общаться с иностранцами, а там можно было надеяться на поездки по миру в больших масштабах (хотя «выездной» она стала несколько раньше). Она начала слушать новости по телевизору и даже купила сборник речей Михаила Сергеевича, до сих пор лежащий где-то в книжном шкафу.

Счёты к советской власти у неё были, хотя жертв в семье в прямом смысле не было, за исключением погибших в Гражданскую войну на стороне белых. Одного из дедушек, профессора, арестовали в конце 1920-х гг. (одним из обвинений был отказ читать по-украински лекции по своей технической специальности в Политехническом институте), но через год отпустили, выслав за пределы Украины. Он потом работал в Горьком и материально был среди родственников устроен лучше всего, например, мог помочь деньгами Катиной семье для покупки «Москвича». Оба деда прожили больше 90 лет, а родная Катина тётка дожила до 98 и умерла за два

года до Кати. Хуже было с эмиграцией: два случая во «второй волне». С немцами из Киева ушли родная сестра матери и двоюродный брат отца с семьёй. Сестра так и пропала, а двоюродный брат нашёлся в 70-е гг. в штате Нью-Джерси, Катя установила с его семьёй отношения, и они несколько раз встречались.

Аресты и отъезды родственников прямо на жизни Кати не сказались, а КГБ всерьёз ей не интересовался; в воспоминаниях она по уже установившейся традиции перечисляет немногочисленные общения с этой организацией, не свидетельствующие о реальном интересе. Возмущало её, прежде всего, другое, касавшееся её непосредственно. По происхождению она принадлежала в нескольких поколениях к интеллигенции, в большинстве дворянской. Среди её предков были казахи полковники, помощники при гетмане и жёны гетманов, гимназический учитель писателя Писемского, архитектор, построивший в Киеве банк и Политехнический институт, директор гимназии, профессора и многие другие. Катя очень интересовалась своим родом, искала в библиотеках генеалогии, чертила родословные деревья. По национальности при преобладании украинцев были русские, греки, сербы, возможно, даже гагаузы. Катя была по паспорту украинкой, но считала себя русской и при любви к Киеву (Москва за сорок лет не стала для неё родным городом, и она попросила её в Киеве похоронить) не принимала украинский национализм, что под конец жизни рассорило её с частью друзей.

Но после 1917 г. такая генеалогия шла скорее в минус, чем в плюс. Катя остро ощущала снижение в стране социальной роли интеллигенции и отношение к ней власти. Её бабушка рассказывала, как после революции к ним в профессорскую квартиру подселили проститутку, топившую печку книгами соседей; бабушка пошла жаловаться видному партийному деятелю, который ответил, что не может помочь, поскольку проститутка – «социально близкая» к пролетариату. Катин отец успешно работал как главный инженер проекта, строил заводы, на работе пользовался авторитетом, имел правительственные награды и множество почётных грамот, но это никак не помогло улучшению жилищных условий. Довоенная жилплощадь была потеряна, когда он был на фронте, и Катя с рождения до 29 лет жила в коммунальных квартирах. В том числе долгое время их соседями были немолодой уголовник и его сожительница

(кстати, евреи), которые издевались над интеллигентными соседями, уголовник однажды ударил Катину мать топором, к счастью, не опасно, милиция отказалась вмешиваться. Особенно из-за этого переживала Катя, детство и юность которой были подпорчены такой жизнью; она была критичнее настроена, чем её родители. И отдельную квартиру на окраине их семья получила лишь потому, что их дом оказался предназначенным под снос. Потом для Кати всё изменилось, но память, конечно, осталась. Так что её настроения имели во многом социальную природу.

Иногда она бывала здесь не вполне объективной. Ей казалось (и она пишет об этом в воспоминаниях), что альтруизм, доброжелательность, честность и другие качества, присущие старой интеллигенции, не свойственны ни простым людям, ни ещё в большей степени их полуинтеллигентным потомкам, пробившимся наверх благодаря революции. Как она выразилась, для таких людей характерно «повышенное внимание к своему телу и особый интерес ко всяким плотским инстинктам и проявлениям», под культурой они понимают лишь её внешние атрибуты. Такие черты она находила и в моих родителях. Однако могу без колебаний сказать, что и мои родители, и читанные в детстве советские книги учили меня тому же самому, тем же принципам, что и семья Кати. И мой отец, хотя и сохранял деревенское отношение к женской красоте, но по счастливому стечению обстоятельств четыре года учился в гимназии. И в советских принципах воспитания, в декларациях и лозунгах многое продолжало традиции старой интеллигенции (как это сочеталось с реальной жизнью – другой вопрос).

К общественным переменам в нашей среде поначалу почти все относились хорошо, слишком скучная жизнь надоела, а активный Горбачёв смотрелся на фоне старых и больных предшественников. Даже моя мать говорила, что согласна с изменениями в экономике, лишь бы не трогали идеологию. Но для таких, как Катя, важна была именно идеология, и именно идеологические перемены сломали общественный строй, что мать, я думаю, интуитивно предчувствовала. Интеллигенция, как казалось, впервые (времена кадетов уже мало кто помнил) заняла ведущее положение в общественной жизни. Но и во времена Милукова, и во времена Сахарова она сыграла роль разрушающего тарана, а в итоге потерпела закономерное поражение.

Академические институты сотрясала борьба, что-то и кого-то свергали, «советы трудовых коллективов» сражались с дирекцией. Моя мать, тогда директор Института всеобщей истории, ранее всегда умевшая меняться при поворотах истории, теперь не знала, что делать. Вскоре, в сентябре 1987 г. её не стало, и Катя говорила, что она вовремя умерла: как бы она пережила 1991 г. Речь шла не о реформах, а о полной смене официальной системы ценностей и принятии взглядов противной стороны в многолетней «холодной войне». Однако тогда было очевидно, с чем и с кем надо бороться, но не было ясно, чем это нужно заменить. И это скоро определилось.

Катя в годы «перестройки» всецело симпатизировала «демократическому» лагерю, который меня чем дальше, тем больше раздражал. Окончательный перелом у меня произошёл, когда Ельцин (который никогда мне не нравился) объявил, что будет бороться за президентство в РСФСР; стало ясно, что ради власти он готов развалить страну. Моя жена всё же не ходила на митинги и демонстрации: толпы фанатиков ей были чужды. Но она пошла на прощание с Сахаровым (с которым мы не были знакомы) и потянула меня. Пришлось выстоять в редкий для Москвы мороз в очереди длиной в половину Комсомольского проспекта, я в итоге сильно простудился. Здесь я уступил, но потом произошёл редкий случай, когда уступить пришлось Кате. В начале 1991 г. поредел состав парткома в моём институте: одни сменили вехи и вышли из партии, другие предпочли занять выжидательную позицию. За неимением других кандидатур стать секретарём предложили мне, я согласился. Катя меня после этого домой непустила. Из близких родственников ещё была жива моя тётя, у которой пришлось переночевать. На следующий день я поехал домой, Катя не сказала ни слова, но всё же впустила меня в квартиру. Секретарём я оставался до августа, когда парткомы были распущены по указу Ельцина.

Когда прозвучал призыв идти к Белому дому, Катя всё-таки не пошла (как и я), «что тогда мучило мою совесть и чему сегодня я только рада», как она пишет в воспоминаниях. У нас ещё раньше на 20 августа были куплены билеты в Киев, и жена решила ехать. У неё тоже из родственников старшего поколения была жива тётя, и мы в её квартире, а потом на даче несколько дней слушали телевизор. Мне было не по себе, а Катя радовалась, особенно когда

свергали памятник Дзержинскому. Правда, ей с самого начала не понравилось отделение Украины от России: для неё они были единой родиной. Я старался умерить её восторги, говоря о близких перспективах ездить в Киев из Москвы по визе. Действительность оказалась ещё хуже. В октябре 1993 г. мы оказались в Кисловодске, и у Кати уже не было и мысли отправиться в Москву. А в санаторий Горького в Кисловодске в 1992 и 1993 гг. ещё можно было ездить по льготным профсоюзным путёвкам, но когда на Северном Кавказе (пусть даже не в самом Кисловодске) начали стрелять и брать заложников (кто это ожидал во время перестройки?), Катя вынесла вердикт: больше мы на Кавказ не ездим. И никогда уже не ездили.

Но первые годы при капитализме, надо признаться, жить было интересно, и Катя подчёркивает, какая «бурная интеллектуальная жизнь» была тогда. Платили мало, пропали все родительские накопления, в магазинах было пусто, но зато Катя в это время защитила в 1995 г. докторскую диссертацию и выпустила первую книгу «Судьбы Америки в современном романе США» (1994) на её основе. В день Катиной защиты по телевизору была лишь одна тема: убийство Листьева накануне. И на это же время, включая конец перестройки, пришлось все четыре её поездки в США, куда она ездила ежегодно с 1989 по 1992. Это как раз были годы, когда в этой стране Россия была в моде и россиян охотно туда приглашали. Ей удалось побывать и на Востоке, и на Западе, и на любимом ею Юге и даже проехать на автобусе половину страны от Сиэтла до Чикаго и обратно. Она познакомилась с американскими родственниками и включилась в совместный с американскими дамами-исследовательницами проект по женской литературе в СССР и США, книга вышла в Америке по-английски.

Конечно, всё было интересно и увлекательно, но Катя почувствовала разницу в мышлении и в культуре. Её американские коллеги, по крайней мере, тогда вроде бы были и благожелательны, но всё равно смотрели на русских сверху вниз, считая, что уже столетиями живут в нормальных условиях демократии, а бедные русские, пусть не по их вине, не испытали вкуса свободы и требуют обучения и воспитания под западным руководством. Для Кати при её характере это ощущать было неприятно. Кроме того, она пишет об американских впечатлениях: «Пресловутый американский ин-

дивидуализм оказался дополненным полным конформизмом, стабильностью и несамостоятельностью мышления. Американец всегда старается делать то, что принято в данной ситуации, и думать так, как должно, полностью доверяя общему мнению, средствам информации и государственной политике. Переубедить его, как правило, невозможно». Она признаёт, что «в целом это народ доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь», но «главную прелесть Америки» увидела не в образцах гражданского общества, а в «роскошной природе». И почему (она никогда об этом не говорила) Катя, съездив в США четыре года подряд и продолжая заниматься американской литературой, последующую четверть века никогда больше не посещала изучаемую страну? Возможности наверняка у неё были, а поездки она всегда любила.

Избирательность у неё проявлялась и в отношении к темам исследований. Хотя она после студенческих работ специально не занималась английской литературой, но создавалось впечатление, что она в целом ей нравилась больше, чем американская. О туристической поездке в Англию она пишет, что для неё это было «путешествие в любимые книги». А в американской литературе она больше всего любила «южных джентльменов» рабовладельческого Юга, описанных Фолкнером и другими писателями-южанами, они больше напоминали ей европейцев. И, безусловно, Диккенс и Марк Твен ей были ближе абсурдистов и постмодернистов, а Л. Толстой и Чехов нравились больше, чем Виктор Ерофеев, с которым она работала в ИМЛИ.

Сказывалось её воспитание. Она ещё застала поколение своих дедушек и бабушек, воспитанных в традициях XIX в. и во многом передавших ей эти традиции, значимы они были и для её родителей. Она в душе возмутилась, хотя ничего не стала говорить, когда лингвист Евгений Хелимский (тоже ныне покойный, окончил жизнь в Германии) при ней сказал, что в дореволюционной России не было ничего хорошего. Может быть, для предков Хелимского это было так, но были там и Катины деды и прадеды. Она признавала своё «старорежимное» воспитание и его несовременность, однако, безусловно, им гордилась. Мои родственники со стороны матери перед революцией в общем-то принадлежали к тому же социальному слою: дед окончил в 1910 г. Московский университет, а

две бабушкины сестры учились в Сорбонне. Но они были интеллигентами в первом-втором поколении, и Катя видела в них представителей купечества, ставя ниже своих дворянских предков, что моя мама замечала и не одобряла.

Однако мама не раз мне говорила, что не признаёт жёсткого деления «советский – антисоветский», выделяя не две, а три партии. Среди не симпатизирующих советской власти она различала ярых западников, которых не любила, и продолжателей дореволюционных традиций, известных ей с детства. У неё ещё в ранней молодости был роман с ленинградским профессором-античником много её старше, окончившим кадетский корпус и побывавшим на Соловках. Когда он умер в начале 70-х гг., она специально ездила в Ленинград на его похороны. А он был одним из главных информаторов Солженицына по Соловецкой главе его «ГУЛАГа». Но он прямо подчёркивал свою принадлежность к старой русской (не западной!) культуре. Сюда же она относила академика Лихачёва, с которым дружила (сохранились его письма матери, где он осуждал апелляции к Западу по поводу наших собственных дел); правда, уже в 90-е гг. он стал склоняться в западную сторону, до этого мать не дожила. Но в 60–70-е гг., по её мнению, такие люди сохраняли патриотические чувства и считали советский строй, по крайней мере, меньшим злом по сравнению с насаждаемой Западом системой ценностей. Если бы мать достаточно хорошо знала Катю, а та не была бы её невесткой, то, может быть, она бы её уважала, но в сложившейся ситуации слишком значимым был принцип «она тебя не почитает».

А время шло, и многое быстро менялось не в светлую сторону. Катя всегда признавала изменения к лучшему для неё, происходившие после свержения памятника Дзержинскому. Но ситуация в стране делалась всё хуже. Во-первых, «демократическая общественность» ориентировалась не на традиции русской интеллигенции, а на принципы, увиденные и критически оценённые ею в Америке. Во-вторых, снова, как после 1917 г., интеллигенция потерпела поражение и не без её помощи к власти пришли перекрашенные номенклатурщики и коррупционеры. Здесь опять процитирую воспоминания. «Не многие из них [демократов – В.А.] поняли, что крах их «перестроечных» надежд связан главным образом... с непреложностью объективных законов истории и человеческой

психологии». «Мало кто понимал, что в России вместе с эпохой первоначального накопления воцарится буржуазность, столь ненавидимая и высмеиваемая во все эпохи и во всех странах интеллектуалами и гуманистами». Со всем сказанным я могу согласиться. Наши взгляды стали сближаться и, по-прежнему расходясь в оценках прошлого, мы сходным образом стали оценивать настоящее. Незадолго до смерти Катя на одних из выборов голосовала за коммунистов. И её, и меня (последнего она зря не признавала) воспитывали в традициях «интеллектуалов и гуманистов», а многие, особенно молодёжь, привыкли к буржуазности и в ней видели норму.

Однако оставались островки русских и советских традиций. В ИМЛИ, как и в аналогичных академических институтах, произошла естественная выбраковка: одни ушли в бизнес, другие отправились туда, где выше стандарты потребления, но немалая часть сотрудников всё же остались в науке. Оставшаяся часть группы американистов всё-таки довела до конца «Историю американской литературы», выпустив шесть томов. А Катя после книги по докторской диссертации написала и издала ещё три: «История, написанная в пути. Записки и книги путешествий в американской литературе 17–19 вв.» (1999), «Экологическое сознание в современной американской литературе» (2002), «Концепты хаоса и порядка в литературе США. От дихотомической к синергетической картине мира» (2009). Я выше упоминал её любовь философствовать, в двух последних книгах она отразилась в полной мере. Ещё большое число глав в «Истории американской литературы», главы в книге о женской литературе и ещё одна книга, которую не успела закончить. Большинство крупных работ написано в возрасте около 50 лет и старше. Сначала потеряла несколько лет, когда выбирала профессию и пробивалась на работу, ей соответствующую, а потом сказывалась советская манера разрешать представить монографию лишь перед пенсией. Что всё-таки было хорошо в 90-е и нулевые годы – это возможность писать и издавать то, что хочется. Кстати, такая же свобода (правда, ограниченная нехваткой денег) была и сразу после революции до 1929 г. Катя была большой патриоткой ИМЛИ и осуждала тех сослуживцев, которые переходили в другие места, считавшиеся более престижными из-за отсутствия советских корней. Не принимала она и эмиграцию.

Платили нам недостаточно, но после голодных 90-х годов на жизнь хватало, в том числе сказывались наши повышения в должности. Хватало и на поездки, к которым Катя привыкла и которые любила с детства, это была ещё черта сходства с моей матерью. Мы жили вдвоём, не имели ни машины, ни дачи (Катя была дочерью автомобилиста, но не научилась водить, и «Москвич» мы продали), и всё тратили на турпоездки; впрочем, и командировки бывали, особенно у меня. В 90-е годы ещё сказывались прежние традиции, и мы часто ездили по отдельности, а Катя иногда и со знакомыми дамами. В новом тысячелетии уже семейные поездки преобладали. Катя пишет, что побывала в 61 стране (включая бывшие республики СССР); так было за два года до смерти, но потом она ещё прибавила к ним Албанию, и стран стало в итоге 62. Мы объездили Европу и Ближний Восток, бывали в Восточной и Южной Азии, в обеих Америках, но до Тропической Африки, Австралии и Океании мы так и не добрались.

Бывали и места очень экзотические вплоть до Мачу-Пикчу и до Амазонки, где из воды перед нами выпрыгивал речной дельфин, именуемый в зоологии «иния амазонская». В Перу мы путешествовали в составе группы из пяти человек, в том числе в одиночку ездил учёный секретарь Казанского филиала Академии наук, молодой человек очень интеллигентный на вид. Вскоре по возвращении в Казань он прославился тем, что убил свою подругу и её мать, о чём с большим удовольствием сообщали российские СМИ. Никакой патологии в его поведении не ощущалось. Бывают загадки.

Однако из всех многочисленных поездок наибольшее удовольствие, даже по сравнению с Перу и Японией, Катя получила в альпийской части Италии, в деревушке Белладжио на озере Комо, куда попала в 1999 г., выиграв международный грант; я числился при ней в качестве «мистера Стеценко». Туда приглашаются на месяц интеллектуалы из разных стран, они общаются, пользуются библиотекой и компьютерами и смотрят на альпийские пейзажи. Мы ездили по всему озеру, гуляли по его берегу, где собака воевала с утками, проезжали через место, где расстреляли Муссолини, добились до Милана и Бергамо. Очень избранное общество, в которое моя жена вполне вписалась, хотя всё-таки ощущала высокомерие западных коллег, которые были удивлены, что русская дама может хорошо одеваться и свободно говорить по-английски. Но она

смогла быть на равных с другими. На Катин день рождения её тепло поздравляли, американцы-пианисты играли в её честь. Как она пишет, «я была горда, что не посрамила родину». И ещё она констатирует: «Наверное, не было в моей жизни более счастливого времени».

Женщины любят покрасоваться, и ей в Белладжио это удалось в полной мере. Я бы на её месте, скорее всего, не смог преодолеть стеснительность. Но её понять было можно. После жизни в одной квартире с уголовниками и полной беспросветности такой успех! Конечно, на раннем этапе ей помогла моя мама (как бы Катя ни относилась к свекрови, она всегда это признавала), но дальше уже надо было действовать самой, и она добилась многого. В ИМЛИ к этому времени её уже давно считали своей, это отразилось в том, что в 2004–2015 гг. она занимала должность заместителя директора.

Всё было бы хорошо, если бы не наследственная болезнь – поликистоз почек. От неё умерли её бабушка и мать в одном возрасте: 61–62 года с разницей в несколько месяцев. В молодости она не даёт о себе знать, и Катя могла жить, как жила, до 37 лет, когда вдруг резко повысилось и ничем не сбивалось давление. Потом вроде бы опять можно было жить, но общее состояние постепенно ухудшалось и резко пошло вниз, когда она начала приближаться к возрасту, в котором не стало её близких. Однако с тех пор медицина ушла вперёд, лечить поликистоз не научились, но появились способы продлевать при нём жизнь, прежде всего, несколькими видами диализов. Ещё весной 2008 г. мы спокойно могли съездить в Перу, а в ноябре, пойдя на выставку в музей имени Пушкина, Катя не могла одолеть парадную лестницу и несколько раз садилась прямо на ступеньки. К тому времени в Москве уже работал специальный нефрологический центр, находившийся на Октябрьском поле, недалеко от нашей квартиры. С ним будут связаны последние десять лет Катиней жизни.

Вердикт врачей был однозначен: спасти может лишь диализ. Правда, тогда уже существовали несколько его разновидностей, между которыми даже можно было выбирать. Она выбрала ту, которая представляла больше свободы и могла быть использована в домашних условиях. Три раза в день по 10 минут надо было самостоятельно проводить процедуру. Она пишет, что научилась смот-

реть на неё так же, как на чистку зубов. А к тому времени действовала международная система бесплатного обеспечения больных лечебными растворами, необходимыми для процедуры. Не знаю, как дело обстоит сейчас, но боюсь, что Россия теперь исключена из неё. А тогда она действовала чётко, и Катя прожила ещё девять с половиной лет.

Она продолжала работать, по-прежнему писала и публиковалась, уже в эти годы она написала воспоминания. Несчастья обрушились на неё ещё в первый пятилетний срок работы в дирекции, и она не только не покинула свой пост сразу, но была утверждена на второй срок, после которого её возраст превосходил предел, но пребывание в качестве зам. директора продлевали ещё на год. Итого 11 лет, из них 7 лет на диализе, который она научилась делать в кабинете. А председателем диссертационного совета по зарубежной литературе она оставалась до конца.

Поначалу Катя боялась, что навсегда закончатся её поездки, но международная система, как выяснилось, действует во многих странах. Технически сложно доставку растворов было осуществлять в командировках, а в случае туризма проблем не было. Мы приезжали в отель, куда уже были бесплатно доставлены ящики с растворами. За все годы был всего один сбой. Однажды мы вечером приехали в Баварию, а в отеле ящиков не было. Кате стало плохо: ситуация могла быть смертельно опасной. Пришлось звонить по разным телефонам в агентство, где, к счастью, нашлись дежурные, и в тот же вечер растворы прибыли.

И всё это время три-четыре раза в год у нас были поездки, обычно по новым местам: Катя теперь особенно старалась побольше успеть. К сожалению, теперь были исключены длительные перелёты и страны, с которыми не было соглашения (например, на Ближнем Востоке доступны стали лишь ОАЭ и Израиль). Но открыта для Кати оставалась практически вся Европа. И Катя досматривала страны, где ещё не была, например, вышеупомянутую Албанию и Люксембург, в который съездили очень удачно. Моя мать была в Албании, в том числе в археологическом заповеднике, в одной из первых поездок в 1957 г., а теперь в самом конце в заповедник успела попасть Катя: круг как бы замкнулся. Или же мы ездили в те части уже виденных стран, где раньше не бывали, в том числе

на север Испании, где я как лингвист интересовался правами и использованием баскского языка, а Катя стремилась в Памплону, связанную с именем Хемингуэя, и побывала в ресторане, где писатель каждый вечер пил коньяк. И уже находясь на диализе, Катя открыла для себя Подмоскovie, к которому раньше была равнодушна, и теперь мы часть отпуска проводили в «Покровском» или «Лесных далях».

Когда Катю ставили на диализ, с ней в палате находились ещё четыре женщины разного возраста в аналогичном положении, все далёкие от науки и вообще творческой работы. Через три года из всех пятерых, как рассказывал ей врач, в живых осталась она одна. Продлевали существование не только растворы, но и образ жизни. У Кати главной целью было не уступать болезни и жить как можно ближе к тому, что было раньше. Почки отказывали, а голова работала, при этом моя жена уже давно достигла пенсионного возраста, но на пенсию не выходила. Её же соседки оформляли пенсию, полностью уходили в свою болезнь и исключали для себя нормальную жизнь, в результате быстро умирали. А Катю регулярно проверяли в нефрологическом центре и долго не находили существенного ухудшения.

Но всё имеет свой конец. На май 2018 г. уже была куплена путёвка на Крит, а на июль-август – путёвка в «Лесные дали». 24 апреля она в последний раз была в ИМЛИ и провела диссертационный совет. А на следующий день она поехала в свой центр на регулярную проверку, где нашли неполадки с сердцем и положили на лечение. Там её ещё перед праздниками выписали, но дома сразу обнаружилась высокая температура, и её пришлось возвращать в больницу. Там её лечили от одного, но выходило из нормы другое; по-видимому, после почти десяти лет диализа стал отказывать весь организм. От поездок пришлось отказаться. С мая по июль она находилась то в больнице, то дома. В больнице ей при интенсивном лечении стало лучше, её начали вывозить в кресле во двор, где располагался цветник, и, видимо, могли бы ещё поддерживать месяц или два. Но она уже не выдерживала долгого лежания в больнице и запросилась домой. Её отвёз знакомый, от палаты до машины и от машины до дивана она прошла сама, но с дивана уже не встала. Дома с первой же ночи началось быстрое ухудше-

ние, и через четыре дня поздно вечером она прошептала: «Помираю». Я вызвал немедленно «Скорую помощь», уже ночью её увезли в тот же центр на Октябрьском поле. Там её ещё пытались вытянуть пять дней, но в ночь с 21 на 22 июля её не стало. Она прожила столько же, сколько её отец, с разницей в несколько дней, хотя болезни у них были разные. Незадолго до смерти она попросила её кремировать, а урну похоронить в Киеве рядом с её родителями. Я всё это осуществил: в 2018 г. поехать в Киев не было проблемой, а мой багаж таможенники и не стали смотреть. А теперь смогу ли я когда-нибудь ещё попасть в Киев?

Итак, в браке с Катей мы были 42 года. Сказать могу одно: с ней бывало трудно, но всегда интересно. В какой-то степени между нами было оптимальное соотношение: интеллектуально жена была равна мне, а по характеру сильнее. Это очень часто помогало. Теперь я стараюсь сохранять домашние правила и привычки, установленные Катей, и часто размышляю о том, как бы она поступила в той или иной ситуации. Если действительно мы были друг другу назначены судьбой, то судьба, я думаю, распорядилась правильно.

ГЛАВА 5. СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СТАРОСТИН

Сергей Анатольевич Старостин (1953–2005) был выдающимся лингвистом широкого профиля, прежде всего, компаративистом, занимался многими проблемами. А я постоянно смотрел на него снизу вверх, хотя был на восемь лет старше. Среди лингвистов моего поколения он был единственным, к кому я так относился.

Вся жизнь учёного прошла в Москве. Его отец и старший брат были известны как выдающиеся полиглоты. Отец Сергея Анатольевича Анатолий Васильевич Старостин был переводчиком и преподавателем языков, включая таджикский и грузинский (он, например, готовил подстрочники стихов грузинских поэтов для Б.Л. Пастернака). О нём я много слышал от своего отца, с которым они вместе работали в Издательстве иностранной литературы. О нём отец даже написал один из его «академических рассказов», который, к сожалению, пропал. Но если старший Старостин был лишь полиглотом, то Сергей Анатольевич одновременно оказался и талантливым учёным, которому очень помогало знание многих языков.

Его способности проявились необычно рано. На Московскую олимпиаду по языковедению и математике, проводившуюся в МГУ для учеников 9–11 классов (об олимпиадах я пишу в другом разделе), он впервые пришёл, учась в 6-м классе, и получил вторую премию, а затем до окончания школы четыре раза выигрывал олимпиады. Ещё школьником он стал ходить на «взрослый» семинар по ностратическому языкознанию (что это такое, разъясню дальше), который вели А.Б. Долгопольский и В.А. Дыбо.

В 1970 г. Старостин окончил школу и поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, которое окончил в 1975 г. На отделении он попал в японскую группу, что сыграло значительную роль в его дальнейшей научной деятельности, которая началась очень рано. Его посмертный том «Труды по языкознанию» (2007) открывается тезисами доклада на конференции по сравнительно-историческому языкознанию в декабре 1972 г., то есть в девятнадцать лет. В то время Сергей учился на третьем курсе, но в примечаниях к книге сказано, что работа была выполнена первокурсником. Первая большая по объёму его публикация, также по японским реконструкциям, вышла в сборнике Института

востоковедения в год окончания университета. В 1975 г. по окончании МГУ Старостин был зачислен в аспирантуру Отдела языков Института востоковедения РАН, затем работал в том же отделе до 1992 г. Я был его коллегой и некоторое время начальником.

Безусловно, Старостин мог бы добиться успеха в любой области лингвистики, тем более что в студенческие годы он получил прекрасную школу в экспедициях А.Е. Кибрика в Дагестане. Там студентов учили записывать в полевых условиях и обрабатывать материал малоизученных или вовсе не изученных языков, уметь работать с конкретными языками и видеть в каждом из них специфическое проявление общих закономерностей человеческого Языка. Полевые исследования помогали и в компаративистике: в том числе во время экспедиции на Сахалин в 1978 г., о которой я пишу и в других разделах. Он изучал распространённые там корейские диалекты, полученные материалы он затем использовал в алтайских реконструкциях. У Сергея Анатольевича есть и публикации по современным языкам, более всего по японскому. Особенно надо выделить его участие в коллективной грамматике японского языка, готовившейся в Институте востоковедения под редакцией И.Ф. Вардуля. К сожалению, из-за недостаточного взаимопонимания авторов удалось написать лишь первый том, где Старостину принадлежат разделы по фонологии и акцентуации, в этих областях он был выдающимся специалистом. Свои разделы он закончил к 1982 г., но книга вышла намного позже, в 2000 году. Позднее он должен был участвовать и в «Теоретической грамматике японского языка» под руководством его однокурсницы В.И. Подлесской, но она была подготовлена уже после его смерти; фонетические разделы были написаны П.М. Аркадьевым и мной на основе идей Сергея Анатольевича. В 1983 г. для Военного института он написал учебник истории японского языка, до сих пор не изданный; там речь шла и об истории языка письменного периода, чем он редко занимался.

Но более всего учёного влекло сравнительно-историческое языкознание – отрасль науки, сложившаяся и получившая немалые результаты ещё в начале XIX в., но до сих пор представляющая собой обширное поле деятельности. Лингвист-компаративист на основе строгой методики сопоставляет известные языки и реконструирует праязык, от которого эти языки произошли, проникая в глубины

истории. Расцвет сравнительно-исторического языкознания пришёл на XIX в., когда был выработан великий сравнительно-исторический метод, исторически первый из строгих лингвистических методов. За столетие было установлено и доказано родство многих языков, входящих в большую индоевропейскую семью, куда входят и русский, и древнегреческий, и хинди, и английский и ещё многие языки. Однако за её пределы тогда почти не выходили. Лишь с начала XX в. развернулось интенсивное изучение ряда других семей. А с начала 60-х гг. XX в. в СССР стала активно развиваться так называемая ностратическая гипотеза, согласно которой индоевропейские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, финно-угорские, дравидийские на юге Индии и ещё некоторые языки входят в более древнюю ностратическую макросемью. Эти исследования начал замечательный учёный В.М. Иллич-Свитыч (1934–1966), рано погибший, их продолжили А.Б. Долгопольский (1930–2012) и В.А. Дыбо (р.1931). Сергей Анатольевич связал жизнь с этим кругом лингвистов со школьных лет, став в нём сначала учеником, потом коллегой, потом лидером.

С 1992 г. Старостин перешёл во вновь образованный почти с нуля Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), о котором я специально пишу в связи с А.Н. Барулиным. Там собрался коллектив компаративистов, во главе со Старостиным, который мог теперь из неформального превратиться в формальный. Образовался особый центр, фактически небольшой научно-исследовательский институт при университете. В конце жизни Сергей Анатольевич также работал в академическом Институте языкознания, где возглавил центр языков Евразии. В 1997 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

Сильной стороной деятельности Старостина в последние 10–15 лет жизни, помимо наличия тесно спаянного коллектива единомышленников, было активное использование вычислительной техники. По его собственным воспоминаниям, Старостин впервые сел за персональный компьютер в 1986 г., а к 1993 г. он с участием нескольких своих коллег – лингвистов и программистов уже разработал компьютерную систему Starling. Над её совершенствованием он работал до конца жизни. Для каждого изучаемого языка были

сформированы обширные базы данных. И в Институте востоковедения, и затем в РГГУ учёный занимался самыми разнообразными проблемами компаративистики. Трудно найти языковую семью или группу, родственными связями которой Старостин совсем не занимался, у него есть публикации по очень многим из них, разумеется, по одним больше, по другим меньше. Пожалуй, он наложил на свои исследования одно ограничение: не выходить за пределы Старого Света, пока со всеми его языками не будет всё ясно; дойти до индийских и австралийских языков он не успел. Есть у Старостина работы и по самой традиционной тематике компаративистов – индоевропеистике, и по афразийским языкам (семитские, берберские, древнеегипетский, некоторые языки Африки, в том числе сомали и хауса), и по реконструкции древнекитайской фонетики (этому была посвящена его кандидатская диссертация, защищённая в 1979 г. и изданная позже книгой) (переведена на китайский язык). Особенно он много писал о языках Северного Кавказа, куда и студентом, и позже ездил в экспедиции; он вместе с И.М. Дьяконовым и С.Л. Николаевым доказал родство восточнокавказских (дагестанские, чеченский и др.) и западнокавказских (абхазский, адыгейский, кабардинский и др.) языков. К этой семье оказались принадлежащими и некоторые древние языки Передней Азии: урартский, хаттский, возможно, этрусский. Ещё он занимался почти вымершей енисейской семьёй языков (кетский и ряд уже не существующих языков) и предложил смелую гипотезу о родстве между собой западно- и восточнокавказских, енисейских и китайско-тибетских языков (синокавказская макросемья). Развитием гипотезы учёный занимался до конца жизни. Безусловно, высказать такую гипотезу мог лишь человек, сам интенсивно занимавшийся всеми тремя сравниваемыми семьями, а такого, кроме Старостина, в мире больше не было. Наконец, надо упомянуть учебник «Сравнительно-историческое языкознание», написанный им совместно с его ученицей С.А. Бурлак (два издания в 1998 и 2005 гг.).

Особенно много учёный занимался изучением алтайских языков, включая японский. Первым шагом в студенческие годы стало сопоставительное изучение собственно японских диалектов и диалектов островов Рюкю на крайнем юге Японии; именно этому были посвящены вышеупомянутые студенческие исследования Старо-

стина. Доклад 19-летнего студента назывался «К проблеме реконструкции праяпонской фонологической системы». Диалекты Рюкю, бесспорно, родственны японским (их иногда включают в состав японского языка), но уже в древности значительно от них отличались. Для выявления дальнейших родственных связей японского языка необходимо было восстановить праяпонскую звуковую систему на основе сопоставления японского и рюкюского материала. Первым это стал делать (и тоже в самом начале своей деятельности) Е.Д. Поливанов, ставший основоположником научного компаративного изучения японского языка не только в России, но и в мире. Однако Старостин, основываясь на большем материале, и здесь, и в вопросе о внешних связях японского языка (см. ниже), пересмотрел результаты Поливанова.

После защиты кандидатской диссертации Старостин вернулся к японскому языку, но уже в более широком аспекте, рассматривая вопрос о его родственных связях как часть алтаистики и ностратики. В течение 80-х гг. он работал над книгой «Алтайская проблема и происхождение японского языка». Она вышла в самом конце советской эпохи, весной 1991 г., на её основе в начале 1992 г. им была защищена докторская диссертация. Даже в дарственных экземплярах своей книги он писал: «С уверенностью в алтайском происхождении японского языка». Уверенности во всём, что он делал, у Старостина всегда было много.

Реконструкции Старостина в данной области собраны в вышеупомянутой книге и в итоговом «Этимологическом словаре алтайских языков», выполненном им совместно с А.В. Дыбо и О.М. Мудраком и изданном на английском языке. Я хочу на примере алтаистических исследований учёного показать общий подход Старостина и его коллектива к сложным проблемам дальнего родства.

Как известно, идея о принадлежности японского языка к алтайской семье, куда входят тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские языки и, по-видимому, корейский, существовала задолго до Сергея Анатольевича: считается, что её впервые выдвинул в 1857 г. немецкий учёный А. Боллер. Но потом появилась и другая гипотеза, связывавшая японский язык с австронезийской, или малайско-полинезийской семьёй, куда принадлежат языки Малайзии, Индонезии и Океании, эту гипотезу выдвинул и пытался доказать Е.Д. Поливанов. В сторону поисков генетических связей именно с

этими языками толкали исторические данные: древнейшее население Японских островов, по-видимому, составляли австронезийцы, сходные с аборигенами Тайваня, но на грани новой эры с континента вторглись кочевники-алтайцы, из смешения двух этносов сложились японцы. Впрочем, Е.Д. Поливанов не отрицал и японо-алтайское родство, посчитав, что японский язык – смешанный, принадлежащий одновременно к алтайской и австронезийской семьям. Старостин, однако, не признавал возможность смешения языков в принципе. Он исходил из аксиом, которых придерживались и учёные – классики индоевропеистики XIX в. Согласно этим аксиомам, никакой язык не может быть смешанным, а если народ заимствует большую часть базовой лексики, то происходит не смешение, а смена языка. Так, видимо, и произошло с австронезийскими предками японцев, которые, вобрав в себя численно уступавших им завоевателей, переняли их язык, сохранив не только сравнительно небольшую часть лексики, но и фонетический строй исконного языка, не освоив более сложный алтайский тип.

Однако вопрос генетической принадлежности японского языка требовал особого рассмотрения. Были учёные, в том числе очень именитые, решительно отвергавшие алтайскую принадлежность японского языка. Наконец, как известно, с самими алтайскими языками нет ясности. Если в первой половине XX в. идея о существовании алтайской семьи господствовала, то с 1950-х гг., после публикаций английского учёного и дипломата Дж. Клосона, среди тюркологов и монголистов стало преобладать мнение о том, что алтайского родства нет, а имеющееся между этими языками сходство – результат поздних контактов.

Старостин с самого начала, исходя из постулата о верности ностратической гипотезы, рассматривал данную проблему как часть ностратической проблемы. Уже В.М. Иллич-Свитыч пришел к выводу о том, что все причисляемые к алтайским языки являются ностратическими (тогда как австронезийские языки туда не входят). Но и среди старших коллег Старостина не было единой точки зрения; так, А.Б. Долгопольский считал, что особой алтайской семьи не было, а ее традиционные ветви – отдельные семьи, входящие в ностратическую макросемью. С чем сравнивать праяпонскую систему, восстановленную Старостиным-студентом, ещё надо было разбираться.

Для выяснения родственных связей японского языка нужно было применить методы сравнительно-исторического языкознания, что сделать оказывалось сложно из-за отсутствия близкородственных ему языков. Учёный пересмотрел существовавшие алтайские реконструкции и пришёл к выводу, что отдельная алтайская семья действительно существовала. Японский же язык представляет собой особую её ветвь, отделившуюся от других алтайских языков раньше всех остальных, примерно в четвёртом тысячелетии до новой эры (этим же временем обычно датируется и время существования индоевропейского праязыка, следовательно, алтайский праязык ещё древнее). К австронезийской же семье японский язык не относится, хотя с ней имеются сходства, объясняемые контактами в историческое время. Эти выводы – выдающийся вклад в науку о языке, важный и для историков и археологов. Хотя на уровне гипотез и деклараций все эти положения высказывались и до Сергея Анатольевича, но впервые было предъявлено их доказательство с использованием метода глоттохронологии, который был предложен американским лингвистом М. Сводешом в 40-х гг. XX в. и до сих пор вызывает споры. Формула Сводеша, как указывают в учебнике С.А. Старостин и С.А. Бурлак, по происхождению представляет собой «формулу полураспада радиоактивного углерода, используемую при радиоуглеродном датировании в археологии и палеонтологии». Почему эта формула может работать и на лингвистическом материале, не обосновывалось. Она, тем не менее, работает.

Построения М. Сводеша были основаны лишь на индуктивном обобщении известных ему фактов (или на аналогии с другими науками) и не имели строгого доказательства ни с точки зрения состава базовых значений, ни с точки зрения постоянства изменений соответствующих слов, поэтому многие лингвисты их отвергают, нередко по априорным основаниям. Однако (что вообще обычно в компаративистике), такого рода обобщения, казалось бы, ни на чём не основанные, работали и давали результаты. Правда, оказалось, что формула М. Сводеша «умолаживала» время расхождения языков и требовала коррекции. Кроме того, М. Сводеш считал, что все сто слов из его списка имеют равные шансы заместиться другими, что оказалось не так. Помимо канонического списка М. Сводеша, предлагали и другие. С одной стороны, 100 значений расширяли до 110 и даже 200; с другой стороны, коллега Старостина из Ленинграда С.Е. Яхонтов предложил список из 35 самых устойчивых значений.

Старостин поправил М. Сводеша, пересмотрев и усложнив его формулу, выделив возмущающие факторы (постоянство смены базовой лексики не соблюдается в случае замены исконного слова на заимствованное) и учитывая разные степени «базовости» лексики. Хотя в алтаистике были попытки на основе глоттохронологии показать отсутствие алтайского родства, но, по мнению Старостина, они не были убедительны, а сам он получил иные результаты.

Ученый сопоставил списки базовой лексики для выполненных его предшественниками и частично им скорректированных реконструкций тюркского, монгольского, тунгусо-маньчжурского и корейского праязыков, используя также новые материалы, в частности, корейские, собранные им в 1978 г. на Сахалине. Ему удалось выяснить, что, например, между тюркскими и монгольскими языками в списке М. Сводеша имеется 20 слов общего происхождения, а между монгольскими и корейским – 16. Это вполне соответствует принятым критериям признания таких языков родственными. А поскольку многие исконно общие слова сохранились не во всех ветвях алтайской семьи, то процент общеалтайской базовой лексики оказался ещё более значительным. Затем он сопоставил эти реконструкции с собственными реконструкциями праяпонского языка. И обнаружилось, что если исходить из 110-словного списка и учитывать четыре семантических дублета в праяпонском, то, как пишет Старостин в своей книге 1991 г., «среди этих 114 лексем мы имеем 81 лексему алтайского происхождения (среди них 49 с точным семантическим соответствием в одном или нескольких алтайских праязыках и 32 лексемы без такого соответствия, но с достаточно надежной алтайской этимологией)». Это очень большой процент. А с австронезийскими языками у праяпонского обнаруживается только 9 совпадений в базовой лексике, из них лишь три в 35-словном списке, что можно объяснить древними заимствованиями.

Не надо думать, что вся деятельность учёного сводилась к использованию и коррекции метода глоттохронологии. Он был нужен для интерпретации реконструированных праформ, а сами эти праформы восстанавливались на базе традиционного сравнительно-исторического метода, разработанного в XIX в. и основанного, прежде всего, на установлении регулярных фонетических соответствий между родственными языками. Этот метод вызывал

критику и в XIX в., и в первой половине XX в., и со стороны дилетантов вроде Н.Я. Марра, и со стороны крупных учёных (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н. Трубецкой), а сейчас на Западе многими третируется. При замечательных результатах, полученных с помощью метода, лингвисты отмечали его недоказанность. Например, швейцарский языковед первой половины XX в. А. Сеше писал: «Лингвистика фактов сумела самостоятельно сумела самостоятельно пробиться к самым замечательным открытиям. Теоретическая наука лишь следовала за ней». В частности, это относилось к регулярности фонетических законов, не поддающейся «рациональному обоснованию», такого обоснования нет и сейчас. «И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли» (Сеше).

Но Старостин, основываясь на замечательных результатах, полученных на основе этого метода, считал «аксиоматику сравнительно-исторического языкознания» незыблемой и применимой к любому языку. Как пишет в предисловии к однотомнику трудов Старостина В.В. Иванов, он «разработал принципы сравнения, пригодные для всех существующих 6–8 тысяч языков и их главных диалектов и возможных предков». Перифразируя известное высказывание, можно сказать, что сравнительно-историческое языкознание верно, потому что оно всеильно, Старостин, исходя из принципов, усвоенных в студенческие годы, всегда искал подтверждения универсальных законов языка, пусть не всегда такие законы пока что познаны.

Постепенно идеи советской ностратики стали известны за рубежом. Здесь сыграли роль и поездка Старостина на международную конференцию в Ташкенте в 1986 г., и особенно поездка осенью 1988 г. делегации советских учёных на конференцию в Мичиганский университет в США. Старостин, по возрасту один из самых молодых, стал на ней неформальным лидером. «Десант» советских компаративистов вызвал на Западе несомненный интерес, подогревавшийся тогдашней модой на Россию: там ностратики не было (за исключением учёных, ранее эмигрировавших из СССР), а компаративистика была во многом другой. Нашим участникам конференции казалось, что теперь их идеи станут мировыми. Но позже выяснилось, что, кроме внешних препятствий, бывают и внутренние.

Если в России к концу 90-х годов Сергей Анатольевич стал общепризнанным главой научной школы (знаком признания стало и избрание в академию), то иначе сложилась ситуация в мире. За рубежом ностратистику знают лучше, чем большинство других направлений российской лингвистики. И всё равно к ней относятся в лучшем случае как к любопытной экзотике, вряд ли соответствующей языковой реальности, в худшем – как к ошибочному направлению. Причин здесь несколько. Сам факт того, что принципиально новые идеи исходят из России, мода на которую прошла, не способствовал мировому признанию идей Старостина и ностратистики в целом. Сыграла, по-видимому, роль и деятельность некоторых конкурентов-эмигрантов из СССР и России. Старостину было проще что-то сделать самому, чем выяснять, что здесь уже сделали другие (эта черта сближала его с Е.Д. Поливановым), хотя предшественники могли и просто знать какие-то факты, которые Старостин не знал. Игнорирование им работ некоторых учёных заочно задевало их. Наконец, специалисты по отдельным языкам и языковым группам, досконально их знающие, могли видеть у него ошибки из-за неучёта каких-то фактов.

Но, пожалуй, главная причина заключилась в том, что Старостин последовательно стоял на позициях классического сравнительно-исторического языкознания. Сами по себе идеи родства тех или иных языков понятны многим, но в их доказательствах могут разобраться даже не все лингвисты, а лишь те из них, кто овладел сложнейшим сравнительно-историческим методом, который обычно усваивается в юности и требует полной отдачи. Когда-то считалось, что заниматься языкознанием и использовать сравнительно-исторический метод – одно и то же, но уже более ста лет назад Ф. де Соссюр открыл путь к научным исследованиям языка, не требующим владения этим методом. А сейчас на Западе, особенно в США, распространена идея о том, что сравнительно-исторический метод устарел, что родство языков можно доказывать и иными способами, скажем, через массовое фронтальное исследование всей лексики сразу многих сравниваемых языков, без кропотливого установления регулярных соответствий, или же через расшифровку геномов носителей тех или иных языков. Таким лингвистам Старостин мог казаться чуть ли не человеком XIX века, пусть вооруженным современной техникой.

Старостин, однако, не хотел тратить время на споры с оппонентами, предпочитая позитивную деятельность. Возглавив научный коллектив, он уже мог планировать большой объём работы по сравнению гигантского числа языков мира, в идеале (которого Старостин не успел достичь) всех языков. Как он писал в статье 1998 г. «О доказательстве языкового родства», «какие-либо теоретические препятствия на пути дальнейшего сравнения или реконструкции отсутствуют», однако имеются трудности, связанные с большим объёмом информации, и нужна «готовность к кооперации со стороны специалистов по отдельным языковым семьям». С уже сложившимися специалистами, в том числе по алтайским языкам, кооперация получалась редко, но Старостин умел своей харизмой привлекать молодёжь. И он один мог держать в голове всю гигантскую работу в целом. В той же статье 1998 г. он писал: «Для оценки родства внутри макросемей типа ностратической большинству специалистов просто не хватает знаний по отдельным семьям». А кому, кроме него, таких знаний по-настоящему хватало? Он, несомненно, считал, что его реконструкции отражают «божью правду», как иногда говорят американские лингвисты. Как свидетельствуют его ближайшие коллеги, Сергей Анатольевич не верил в бога, но у него существовала абсолютная, прямо религиозная убеждённость в том, что всё на самом деле происходило так, как получалось из его реконструкций. Старостин был убеждённым сторонником единого происхождения (моногонеза) всех языков мира и всерьёз мечтал дойти до реконструкции «языка Адама», именно так он и выражался в выступлениях последних лет. Не успел.

Летом 2005 г. Сергей Анатольевич выступал на международной конференции, проходившей под Москвой. Никто не мог думать о том, что это одна из его последних конференций. Вечером 30 сентября сразу после занятия со студентами в РГГУ Старостин скоропостижно умер прямо в здании университета. Вскрытие показало, что у него уже был перенесённый на ногах инфаркт, а причиной смерти стал тромб. Ему было 52 года.

Коллектив, основанный Старостиным, продолжает существовать, в области алтаистики активно работают, в частности, его соавторы по «Этимологическому словарю» А.В. Дыбо и О.М. Мудрак; у них уже есть свои ученики. К сожалению, в мировом масштабе ностратика по-прежнему не слишком приветствуется. Но и

книга «Алтайская проблема и происхождение японского языка», и подготовленный с его участием алтайский этимологический словарь, и многие другие труды остаются важными вехами в мировой науке. Вся жизнь Сергея Анатольевича была подчинена большой страсти: дойти до «языка Адама», пусть пока так и не известно, был ли он на самом деле.

А что сказать о Сергее Старостине как о человеке. Как говорится, ничто человеческое не было ему чуждо. После не очень продолжительного первого брака он познакомился с Натальей Чалисовой, тогда аспиранткой Института востоковедения, сейчас работающей в РГГУ, она – известный специалист по иранской классической литературе. От двух жён два сына, старший тоже стал лингвистом, младший – специалист по компьютерным наукам, оба по-разному продолжают дело отца. Сам Сергей был неприхотлив, легко переживал бытовые трудности. Помню, как на Сахалине, где нас было четверо, мы при посадке на поезд в лежащее место смогли достать лишь три билета, а четвёртое место можно было получить лишь в сидячем вагоне с бомжами, кинули жребий, и не повезло Старостину. Но он вытерпел всю ночь. Зато он брал на Сахалин кассетный магнитофон и записи Битлз, которые постоянно ставил в любой обстановке, я тогда впервые с ними всерьёз познакомился. Но постоянно не занятое работой время проходило в разговорах о лингвистике, о строе китайского языка и о происхождении нивхов. И Старостин просто не мог не работать. Мы не нашли айнов, но он тут же начал изучать язык нивхов, а затем и язык корейцев. Голова была занята профессиональными вопросами, от многого другого, включая политику, он был далёк. И не всегда он легко сходился с людьми, если они не могли быть близки в профессиональном плане, что нередко порождало непонимание. Но всё было подчинено Делу, и за довольно короткую жизнь Старостин успел сделать много.

ГЛАВА 6. О БАРУЛИНЕ

С Александром Николаевичем Барулиным (тогда Сашей) я познакомился в июле 1966 г. в стройотряде в Пущине на Оке, где студенты участвовали в строительстве только-только начинавшего создаваться научного центра Академии наук.

Саша впервые поступал на ОСИПЛ в 1964 г., но неудачно, а на следующий год поступил. В первые годы существования отделения каждый набор имел то или иное своеобразие. Шестой набор, на котором начинал учиться Барулин, выглядел одним из самых необычных. Студенты там постоянно держались вместе и были несколько обособлены от тех, кто учился раньше или позже, а друг друга называли графами и маркизами. У них была особая экспериментальная программа по математике, которую ввёл В.А. Успенский, читавший именно им больше всего курсов, не зная, что скоро он покинет преподавание на факультете, а его новая программа повторена не будет. И в стройотряды ОСИПЛ обычно не ездил, а тут поехали, правда, не все, но целая группа окончивших первый курс, включая и Барулина. И человеческие, и профессиональные их судьбы сложились по-разному. Кто-то оказался в Израиле, а одна из студенток, запомнившаяся по стройотряду, несколько лет назад была одно время секретарём Московского комитета КПРФ по идеологии. И довольно многие как раз оттуда оказались раньше или позже в академическом Институте востоковедения: помимо Барулина, Наташа Соколовская, Лена Захарёнок-Коган-Дубнова, Лейла Лахути, позже Оля Столбова. В основном они серьёзно занимались конкретными языками Азии или Африки, а Лейла погрузилась в изучение персидских памятников.

Но у Саши в те годы проявлялась тяжёлая болезнь, из-за которой он на год отстал от своего первоначального курса и дальше учился на следующем курсе, где дух был уже другой: появилось тяготение к лингвистической теории, а студенты выглядели очень серьёзными, впоследствии курс дал много докторов наук. К тому же многое в жизни и подготовке студентов изменили два события. Во-первых, этот набор лишь на младших курсах прошёл через школу В.А. Успенского и Ю.А. Шихановича, а дальше роль математики стала падать. Во-вторых, впервые значительная часть студентов стала ездить в экспедиции. Всё это для Барулина, вероятно,

имело положительное значение; в интервью М. Бурас он признавался, что, если бы во время увольнения Шихановича его попросили высказать своё мнение о нём как преподавателе, он бы «сказал, что, например, у меня с Шихановичем никакого контакта нет» [Бурас, 2022: 357]. Зато интерес к теоретической лингвистике у Барулина был велик, в мире экстенционалов он чувствовал себя своим. А экспедиции стали для него точкой применения его многогранных способностей.

И в новом окружении он сразу стал заметнее. Выйдя из далёкой от науки среды, он очень дорожил любой возможностью показаться среди лингвистической «элиты». Помню, как весной 1967 г. проходила третья межвузовская конференция по структурной и прикладной лингвистике, после её окончания мы собрались у Нади Браккер, за одним столом оказались А.А. Зализняк, уже доктор наук, и студенты. И как-то почти тогда собравшиеся, в том числе никому ещё не известные, потом стали известны в лингвистических кругах (например, в тот вечер я познакомился с З.М. Шаляпиной), а Саша, единственный там ещё второкурсник, был со всеми на равных.

А дальше, когда я уже учился в аспирантуре Института востоковедения, Барулин, ещё студент, меня пригласил на собрание кафедрального научного студенческого общества. Такие общества было принято создавать, но не всегда они были достаточно активны. Но Барулин решил произвести переворот, выступил с пламенной речью, устроил досрочные перевыборы совета общества, естественно, возглавив его. Впервые я наблюдал лидерские его качества, которые в Пущине как-то не были заметны. Видно было, как ему хотелось быть во главе, хотя бы НСО. Но тогда на те или иные должности, в том числе общественные, начиная с самых мелких, выдвигали, как иногда формулировалось, по сумме деловых и политических качеств. О политических качествах сейчас уже наговорено много, но, бесспорно, значимы были и деловые качества, однако под ними понимались, прежде всего, исполнительность и организованность. Те, у кого всё это было, например, я, были обречены на выполнение общественных функций. В том же Пущине мне было необходимо отвечать за списки отъезжавших студентов, а потом самому там что-то копать (впрочем, не жалею: приобрёл там друзей, с которыми общаюсь до сих пор); был я и старостой

курса, а спустя много лет (в 1991 г.) последним секретарём парткома Института востоковедения. Барулин, разумеется, был от всего такого далёк, но он, а не я был прирождённым лидером. Были в нём и харизма, и умение вести за собой, что, однако, тогда редко находило применение. Однако с организованностью дело было хуже. У Саши многое получалось одним рывком, а работать методично ему бывало трудно.

Потом Саша окончил университет, продолжал ездить в экспедиции под руководством А.Е. Кибрика, познакомился с И.А. Мельчуком, войдя в круг его последователей. Но устроиться на работу или в аспирантуру по специальности, особенно по теоретической, а не прикладной лингвистике, было нелегко, многие способные выпускники были не у дел. Я, к тому времени защитив диссертацию и прижившись в своём институте, убедился в том, что этот институт – неплохое место для спокойной научной работы и для меня, и для других. Мой научный руководитель и заведующий сектором, потом отделом, И.Ф. Вардуль очень хотел повысить уровень лингвистики в отделе, а заместитель директора В.М. Солнцев первоначально его в этом поддерживал. И приоритеты у осипловцев были здесь самые подходящие: востоковеды по образованию (их готовили Институт восточных языков при МГУ и МГИМО) чаще всего искали возможности работы за рубежом, а на «нашем» отделении прививались идеи о престижности науки.

В начале 1972 г. я познакомил Вардуля и Солнцева с тремя выпускниками и дипломниками ОСИПЛ. Это были Н.К. Соколовская, к сожалению, рано умершая, Т.Г. Погибенко, работающая в Институте востоковедения до сих пор, и Барулин. Всех взяли в аспирантуру. Последний из них особенно понравился Вардулю и Солнцеву, впечатление произвела его теоретичность. Поначалу они с Вардулем подружились. А в отделе он произвёл впечатление человека артистического склада. Саша участвовал в самодеятельности, умел пародировать, этим прославился. Помню, как одна дама в отделе не могла вспомнить фамилию Барулина и сказала: «Ну, как его, ну артист хороший».

Коллектив всегда складывается из сложного сочетания производственных и человеческих отношений. Отдел языков Института востоковедения, в котором изучали несколько десятков языков Азии и Северной Африки, имел особые сложности. Прежде всего,

сотрудники не всегда понимали друг друга с профессиональной точки зрения. Языки очень разные, а их описания не всегда соизмеримы. Сказывались и различия в возрасте и научной подготовке, а появление молодёжи (выпускников ОСИПЛ продолжали брать) усилило разрыв между взглядами и привычками; постепенно более значимыми становились и политические расхождения. Сотрудники, начинавшие деятельность в 40–50 гг. и получившие восточную подготовку, обычно не очень интересовались теорией, иногда удовлетворяясь подходами из школьных учебников, тогда как на ОСИПЛ (существует с 1960 г.) традиции всегда были другими, а экспедиции формировали и укрепляли эти традиции. Зато сотрудники, всю жизнь изучавшие только один язык, имели лучшую страноведческую подготовку. Можно сказать, что ОСИПЛ глядел на свой объект изучения, рассматривая то или иное множество языков как разновидности Языка вообще, а в Отделе языков люди посвящали себя одному, но досконально рассматриваемому языку, особо не разделяя внутреннюю и внешнюю лингвистику.

Конечно, в отделе играли роль и различия характеров и темпераментов, при этом, как обычно бывает, резкость тональности прощали скорее, чем высокомерие. Некоторые попадавшие в отдел крупные учёные даже не то, чтобы презирали научно менее сильных коллег, но бессознательно проявляли отсутствие к ним интереса, а этого не любят. Барулину это было не свойственно. Он мог поговорить с пожилой и старомодной в научном отношении сотрудницей о бытовых делах, кому-то посочувствовать, кого-то поздравить. И это сказывалось. Он мог по какому-нибудь поводу высказаться резко, поругаться с начальником, но это обычно не имело особых последствий.

Помню эпизод 1984 г. Умер сотрудник отдела и начальник институтской дружины Ю.А. Смирнов, человек не очень приятный и с психическими отклонениями: всерьёз писал в инстанции о том, что у него крадут научные идеи. Но когда он умер (а он к концу жизни со всеми поссорился и остался совсем один), оказалось, что его (доктора наук) некому хоронить. И неожиданно стал помогать и взял дело в свои руки Саша. Мы с шофёром под Сашиным руководством втроём отвезли покойного на Николо-Архангельское кладбище и справились со всей процедурой.

Но это бытовая сторона жизни. А есть ещё наука и политика. Отношения Барулина с Вардулем, поначалу хорошие, довольно скоро разладились. У каждого был свой взгляд на язык, а у Барулина сказывалось значительное влияние Мельчука, идеи которого Вардуль не принимал. И Вардуль как старший смотрел на Сашу сверху вниз, а тот этого не переносил. Оба были неуступчивы. И сказывалась черта Сашиной личности, уже упоминавшаяся: неорганизованность. После аспирантуры его зачислили в отдел, что формально делать не полагалось: диссертацию он не представил. Защита состоялась лишь почти через десять лет. И Барулин вовсе не был ленив и работал много, но написать связный текст, не уходя в сторону и не отвлекаясь на детали, ему оказывалось трудно.

Помню, как мы с ним ездили на конференцию в Новосибирск к М.И. Черемисиной. Его доклад не был готов, и, приехав накануне к концу дня, он вечер и ночь сочинял доклад, размышляя вслух и не давая мне спать. Получилось вполне складно и интересно, а завершить он решил анекдотом про академика Гамалею. На другой день в первой же фразе доклада он сказал присутствующим, в большинстве новосибирцам: «Я не из вашей парадигмы». Кто-то на эти слова обиделся и возразил с места, Барулин начал с ним спорить по вопросам, не относящимся к докладу, который в результате был скомкан, а на Гамалею уже не хватило времени. И так бывало часто. В итоге за полтора десятка лет в Институте востоковедения он, помимо какого-то количества статей в сборниках, опубликовал лишь одну большую работу. Он стал составителем и одним из авторов выпуска издания «Новое в зарубежной лингвистике» [Новое, 1987], посвящённого новым идеям в мировой тюркологии (в отделе он числился тюркологом, хотя не особенно владел этими языками). Тут к нему благоволил видный тюрколог академик А.Н. Кононов, которого Саша сумел очаровать. Их предисловие к книге, основным автором которого был Барулин, содержало основные идеи так и не изданной его диссертации «Теоретические проблемы описания тюркских именных словоформ» (1985).

Но, разумеется, не обходилось без политики. Здесь на работе Барулина сказались увольнение его гуру И.А. Мельчука в 1976 г. и в следующем году его эмиграция. В день заседания учёного совета Института языкознания, где Мельчука увольняли, там среди других лингвистов из группы поддержки в коридоре стоял и Барулин.

В Институте востоковедения об этом, разумеется, сразу узнали, но особых репрессий не последовало. А потом на эмигранта запретили ссылаться. На собрании отдела Барулин выразил протест и обрушился на академические порядки. После собрания, когда остались только Солнцев, Вардуль и я, Солнцев сказал: «Конечно, Барулин прав, но что мы можем сделать?». Серьёзных последствий и на этот раз для Саши не было. Одной из причин могло быть то, что директором института тогда был Е.М. Примаков, который не любил скандалов на политической почве (но при этом откровенно третирует неактуальные для него направления работы института вроде лингвистики). Барулин потом говорил, что он написал три диссертации, из которых первые две не прошли из-за упоминаний Мельчука. Это, конечно, сказалось, но были ли две первые диссертации закончены? Одну диссертацию, которую должны были также издать книгой, я видел; табуированные упоминания там были, но связного текста не было (про другую диссертацию ничего не знаю), однако, когда запреты были сняты, книги так и не появились.

И всё-таки для многих в институте, в том числе и среди тех, кого Саша не включал в свою компанию, он казался «своим». И когда в начале 1980-х гг. лингвистические экспедиции (во Вьетнам) начались и в Институте востоковедения, Барулин, хоть и не без труда, но всё же туда съездил, тогда как С.А. Старостина из-за переписки с уехавшим в США другом не пустили.

Я всю жизнь был далёк от экспедиций, но однажды всё-таки слегка познакомился с этим увлекательнейшим видом работы и именно под началом Барулина. В конце весны 1978 г. он вдруг (для всех это было неожиданным) объявил, что надо ехать на Сахалин описывать язык айнов. Он сразу занялся организацией, получил поддержку Солнцева, кажется, побывал и у Примакова, изыскал средства, оформил въезд на режимную территорию и подобрал команду. Вопрос о начальнике и не обсуждался: было очевидно, что им может быть только младший научный сотрудник без степени Барулин. Взялись ехать также С.А. Старостин, И.И. Пейрос и я (моя роль была знакомиться и знакомить других с литературой об айновском языке, которая почти вся по-японски). Вся подготовка прошла быстро и по-деловому. В августе (Барулин до того успел ещё съездить в другую экспедицию на Камчатку) мы отправились на месяц на остров.

С точки зрения первоначального замысла мы потерпели полную неудачу. Айны, которых когда-то описывал на Сахалине А.П. Чехов, после 1945 г. почти все уехали в Японию. Остались несколько человек очень пожилого возраста, которым было уже трудно куда-либо ехать, и полукровки, иногда сохранявшие антропологический тип, но не знавшие язык. Барулин нашёл внука упомянутого Чеховым крестьянина из ссыльных, поляка Колевского, который сожительствовал с айной; внук помнил со времён детства, как его дедушка с бабушкой, играя в карты, сговаривались по-айнски. Но для лингвистики это ничего не давало. Последний достоверно известный носитель айнского языка умер за три года до экспедиции в доме инвалидов города Анива (в Японии тогда ещё находили носителей сахалинских диалектов, но теперь уже нет и их). Но мои товарищи нашли другое занятие: уже в XX в. японские власти переселяли на Сахалин корейцев, носителей разных диалектов, и эти диалекты были доступны для изучения. Они погрузились в корейский язык, и Старостин потом пустил результаты в дело, а я в одиночку ещё некоторое время искал помнивших язык айнов, но так и не нашёл.

Мои контакты с Барулиным на Сахалине свелись к сфере быта. Я убедился, что он – хороший организатор и безусловный лидер по натуре. Отсутствие «говорящих айнов», разумеется, не было его виной, а всё зависящее от него, он устраивал легко и непринуждённо. Ещё я видел, как легко и просто он сходится и общается с людьми (за месяц успел подружиться с двумя очень разными девушками – первокурсницей и следователем) и как умеет выудить у собеседника нужную информацию. И, конечно, было видно, что его лидерские качества в тогдашней обстановке не получали должной реализации.

Но вот началась перестройка. Состав отдела к тому времени сильно изменился, и той однородности, что была когда-то, уже не стало. Ушёл Примаков, карьера которого стала быстро идти вверх, его место занял совсем не вписывавшийся в новое время М.С. Капица, а Отделом языков вместо начавшего болеть Вардуля пришлось заведовать мне. Теперь, когда наверх выдвигались новые лица, Барулин мог показать свои достоинства. Но крепко сложившийся и не очень молодой (там всё ещё ведущую роль играли учёные, чья карьера началась во времена Хрущёва и предшественника

Примакова Б.Г. Гафурова) Институт востоковедения не был подходящим местом для их реализации. Раньше он мог быть прибежищем, а теперь появились иные возможности. Выгоднее было строить на пустом месте.

Первой попыткой стало Московское лингвистическое общество, организованное весной 1987 года. Там, впрочем, Саша был не единоличным лидером. Тогда ещё казалось, что предстоит борьба за первенство с «тоталитарной наукой», и опорой будет неформальная структура, состоящая из авторитетных учёных. Но борьбы не получилось: советская номенклатура, иногда даже сохранив руководящие должности, по принципиальным вопросам сдалась без боя. Общество собралось раз пять или шесть с докладами на актуальные темы, и тем дело кончилось.

Более перспективным начинанием оказался факультет теоретической и прикладной лингвистики при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), созданный, прежде всего, Сашей Барулиным. На его поминках А.Д. Шмелёв рассказывал, как возникла идея создания данного факультета. Во время обычного интеллигентского трёпа за блинами по случаю масленицы (очевидно, в 1987 г.) начали мечтать о «свободном университете» и домечтались до некоторой конкретики. Мечтать тогда могли многие, но не думаю, что среди лингвистов мог превратить прожекты в реальность кто-либо кроме Барулина. Его всегда отличали быстрота реакции и натиск, хотя и потерять интерес он тоже мог быстро.

В это время один из «прорабов перестройки» Ю.Н. Афанасьев (историк по образованию и комсомольский вождь по первоначальной профессии), став ректором Историко-архивного института, начал осуществлять более масштабный проект РГГУ. Наряду с историей, в этом университете должны были преподаваться чуть ли ни все гуманитарные науки, включая, естественно, лингвистику, но не по-советски, а на уровне западных стандартов; помещения и материальную базу Афанасьев затем получил от рухнувшей Высшей партийной школы. Появилась возможность застолбить ещё ничейную территорию, Саша умел это быстро делать, велики были и его способности подбирать команду. Как когда-то Вардуля и Кононова, он сумел очаровать Афанасьева, и они с 1988 г. приступили к организации лингвистической части университета.

Поначалу в новый университет шли охотно. Уже в 1994 г. в Москве побывал эмигрант А.К. Жолковский, изложивший затем свои впечатления в воспоминаниях, где писал: в РГГУ работало «большинство моих старых, да и новых знакомых. Впечатление было такое, что туда перешли или вскоре перейдут вообще все. Меня, беглеца от тоталитаризма, это немного беспокоило. Беспокойство такого рода нет-нет да и возникает в России». Перешла в РГГУ и группа ведущих учёных (не только лингвистов) во главе с С.А. Старостиным.

Но что такое «университет на уровне мировых стандартов»? Нельзя сказать, чтобы эти стандарты знали очень хорошо, хотя связи с Западом постепенно расширялись. В это время многие интеллигенты полагали, что теперь «довольно жить законом, данным Марксом и Лениным», хотелось жить, как «все нормальные люди». Но как? Помню, с каким увлечением Барулин и его добровольные помощники сочиняли программы, которые не надо было согласовывать с начальством разного уровня, но можно было немедленно пускать в дело. Внешних препятствий поначалу почти не было (потом они стали появляться). Барулин активно сотрудничал с московской «демократической общественностью», выступал, давал интервью. Помню, как он сказал по радио, что создаваемый им центр будет готовить элиту. С этим высказыванием я не мог согласиться и не согласен сейчас: по крайней мере, студенты не должны так думать, иначе будут задирать нос. Признать кого-либо элитой или не элитой оправдано лишь по результатам.

Думаю, что первоначальный максимализм сгладила жизнь. Преподавательский состав вокруг Барулина большей частью состоял из выпускников ОСИПЛ, которые в целом принимали те идеи, которым их там обучали, и опирались на традиции советского времени; всё это оказалось достаточно слегка почистить от следов прежней вынужденной конъюнктуры. Я это почувствовал, в том числе по себе. Не знаю, предполагалось ли пригласить меня, бывшего секретаря парткома, в РГГУ по совместительству (целиком переходить туда я никогда не собрался бы) с самого начала, но потом Барулин меня тоже пригласил. Курс истории лингвистических учений, который я уже читал в МГУ, несомненно, должен был входить в программу, а я больше других имел опыт преподавания этого предмета.

Читая однотипный курс в разных вузах, я должен был думать о сходствах и различиях. И я быстро понял, что различий и нет (хотя часов в РГГУ было немного меньше). Думаю, что так было и со многими другими курсами. И вообще МГУ в целом сохранил свой престиж, и вопреки Жолковскому ушли в РГГУ не все, а уровень подготовки в те годы, когда лингвистическую часть РГГУ держал в руках Барулин, там и на ОСИПЛ был примерно одинаков.

Если содержательная сторона обучения в двух вузах была похожей, и РГГУ здесь был во многом новым изданием ОСИПЛ / ОТИПЛ (правда, в РГГУ больше, чем в МГУ, преподавали восточные языки), то дух и человеческие отношения заметно различались, и тут, разумеется, многое было связано с личностью Барулина. Всё было подчёркнуто неформальным. Помню, как Саша проводил вручение дипломов первого выпуска. Не в зале, а в одной из рабочих комнат он собрал выпускников, которых тогда было не так много, мужской части пожал руки, а женскую обнял и расцеловал, и раздал дипломы, вынув из кармана. В МГУ такое не допускалось, вряд ли по идейным причинам, просто старейший в Москве университет имел сложившиеся традиции. В РГГУ же расстояние между студентами и факультетскими начальниками было минимальным, а одарять студентов знаниями Барулин мог часами в любой обстановке.

И Барулин оказался на месте не только как администратор. У него в те годы была возможность брать себе любой курс, который ему было интересно читать, и он активно преподавал, показав талант лектора. Свойственные ему недостатки, о которых я писал выше, меньше сказывались при устном общении, в том числе со студентами. Можно идти от одной ударной точки к другой, и недочёты общего плана не так заметны. На ОСИПЛ читал выдающийся лингвист П.С. Кузнецов, но слушать его было трудно. А от лекций Барулина у слушателей оставалось общее яркое впечатление, и этого хватало. Саша ещё был и хорошим популяризатором. Не раз его выступления помогали школьникам выбрать профессию.

Так продолжалось восемь лет. Второй центр лингвистического обучения в Москве был создан. А с ОСИПЛ удалось установить нормальные отношения. Все делали общее дело.

Вспоминается Пушкин, сказавший о Петре Первом:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Эти стихи я вспомнил, выступая на похоронах Барулина. Можно за что-то критиковать его деятельность в РГГУ, но памятник себе он воздвиг. И это стало главным делом его жизни, пусть он был погружён в него не так долго.

Но в 1999 г. произошла катастрофа. Барулин поссорился с Афанасьевым, и тот уволил Сашу с должности декана. Барулину нередко удавалось очаровывать тех, с кем имел дело, но он умел и портить отношения неосторожным поведением. Так было с Вардулем, так получилось и с Афанасьевым. Но, конечно, тот поступил жестоко. На полном скаку один из основателей РГГУ был остановлен и лишён любимого дела.

Барулин, безусловно, не ожидал такого исхода. Он привык бороться с «тоталитарной наукой», а тут с ним расправился «свой». Снова пришлось искать прибежища, как когда-то. За последующие годы он сменил несколько мест работы, в том числе ненадолго возвращался в Институт востоковедения, но достойного себе места так и не нашёл. Последним пристанищем стал академический Институт языкознания, где он за много лет до этого участвовал в акциях в защиту Мельчука. Круг замкнулся: я, человек далёкий от умения быть лидером, во второй раз оказался его начальником, тогда как прирождённый лидер Барулин командовал мной разве что на Сахалине.

В эти годы я видел его редко, в институт он приходил мало. Моя линия поведения по отношению к нему сводилась к одному: не мешать. Административная его деятельность закончилась, а в науке можно было заниматься любой любимой темой. Он выбрал интересную и неожиданную тему: происхождение языка и в последние два десятилетия жизни был этим увлечён, появились публикации, в том числе первая для него крупная монография. Мне трудно давать этим публикациям оценки. Тема важная, нужная, интересная, однако о многом мы можем только гадать из-за отсутствия достоверного материала. Но проблема существует, и много столетий появляются заманчивые гипотезы. Во всяком случае, эта работа стремилась расширить границы человеческого познания, и это важно. Барулин, как всегда, строил планы, делал доклады в Институте языкознания, но в июле 2021 г. всё оборвалось.

Не хочу говорить ничего плохого о тех, кто руководили Институтом лингвистики РГГУ после Барулина. В отличие от него самого они не старались ломать существовавшие традиции. Но что-то ушло, и я сейчас бы не сказал, что уровень подготовки лингвистов в МГУ и РГГУ одинаков. И всё же Институт лингвистики живёт и работает, а Барулин сыграл в его появлении огромную роль.

ГЛАВА 7. ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ?

Но ведь озарение бывает!

Т.М. Николаева, лингвист.

Мои взгляды в основном формировались под влиянием родителей – коммунистов и марксистов, советских газет, журналов и книг. Это влияние оказалось очень сильным и во многом определило впоследствии мою позицию в резких сменах политических ситуаций: я так и не научился ненавидеть советскую власть и с почтением оценивать государственное устройство США. И это касалось не только политики: я привык, во многом бессознательно, исходить из рационального взгляда на мир, считать, что если не всё на свете уже познано, то, во всяком случае, будет познано когда-нибудь, и всему будет выработано научное объяснение. Я так и не уверовал в бога, хотя мой дедушка, очень религиозный человек, пытался этого добиться. Безусловно, я не мог всерьёз верить и в приметы и предзнаменования. Но вот три случая со мной в детстве, которые я на всю жизнь запомнил. Я трижды мысленно предсказал смерть совершенно мне чужих людей, двоих из которых я даже никогда не видел.

У бабушкиной сестры, скульптора Зинаиды Дмитриевны Клубуковой был знакомый, профессор Борис Варнавыч Игнатъев. Я через много лет, работая в Библиотеке имени Ленина, решил по каталогу посмотреть, что он был за профессор; оказалось, что его специальностью была методика школьного преподавания биологии. Он был примерно возраста Зинаиды Дмитриевны, значит, ему было около шестидесяти лет. Я не видел его никогда, но Зинаида Дмитриевна, тогда часто у нас бывавшая, любила про него рассказывать. Когда мне было пять лет, мы на лето снимали дачу в Кратове, и она гостила у нас несколько дней. Частой темой её рассказов был Борис Варнавыч, какой он интересный, весёлый, спортивный, ходит в походы. Я её слушал и вдруг неизвестно от чего, подумал: «А он скоро умрёт». Чем это объяснить? Лето продолжалось, и как-то к нам приехала дочь Зинаиды Дмитриевны Ирина Петровна. Поздоровавшись, первое, что она сказала, было: «Знаете, кто умер? Борис Варнавыч».

Другой случай. Мы жили на Конюшковской улице. Среди жильцов того же дома была вдова врача Вера Георгиевна, довольно вредная старушка, как я тогда считал, любившая читать нотации. Я тогда уже пошёл в первый класс. Как-то мы шли во дворе с дедуш-

кой, и нам повстречалась Вера Георгиевна. Она стала меня расспрашивать, как я живу, в том числе, в каком я классе. Мне почему-то не хотелось признаваться, что всего в первом, я чуть не сказал, что в десятом, но не решился и произнёс: «В девятом». Почему в девятом? Через какое-то время мы там же снова встретили ту же старушку, и она начала меня стыдить; «Зачем ты говоришь глупости, ты же в первом классе, так и говори». Пока она меня осуждала, я вдруг про себя подумал, мысленно обращаясь к ней на «ты»: «А когда я буду в девятом классе, ты умрёшь». Эту идею я не забыл и восемь лет иногда вспоминал и думал, сбудется предсказание или нет. Удивительно, но сбылось.

Третий случай требует некоторого объяснения. В 1957 г., когда я дошёл уже до пятого класса, мои родители работали в академическом Институте истории. Там же работала и очень знаменитая тогда женщина Анна Михайловна Панкратова, одна из первых в стране женщин-академиков (по истории партии) и, главное, член ЦК, хотя высоких постов не занимала (была лишь главным редактором журнала «Вопросы истории»). Говорили, что при утверждении списка для избрания в ЦК её вписал туда сам Сталин. Я её, как и Игнатъева, никогда не видел, но дома о ней говорили часто. На XX съезде её переизбрали в ЦК, а только-только перед последующими событиями пышно отмечали её шестидесятилетие. Мать, бывшая на юбилее, рассказывала нам с отцом, как один из выступавших вызвал всеобщий хохот, сказав: «Наша кипучая, наша могучая Анна Михайловна». Но события вдруг повернулись не в её сторону. Хотя она была выдвиженкой Сталина, но выступила за продолжение его разоблачений, тогда как сверху появилась команда борьбу с «культуром» свёртывать. Борьба в сферах шла очень жёсткая, оставалось два месяца до неудачной попытки снять Хрущёва и разгрома «антипартийной группы». В числе первых жертв оказалась Панкратова. Её сняли с должности главного редактора, покритиковали (члена ЦК!) в журнале «Коммунист» и объявили партсобрание, где Анну Михайловну должны были осудить. Но собрание отменили, объявив о болезни Панкратовой. Помню, как родители обсуждали всё это при мне и сочли болезнь дипломатической. А я (опять чисто спонтанно) подумал: «А, может быть, на самом деле она умирает». Прошло всего несколько дней, и вышла

«Правда» с заголовком «Памяти Анны Михайловны Панкратовой». Опять-таки чем объяснить?

И ещё пример, не связанный с предсказанием, но тоже связанный со смертью незнакомого мне человека. Мне уже пятнадцать лет, и я открываю «Известия», где вижу траурную рамку, и немедленно приходит озарение: умер академик Орбели (имеется в виду востоковед, его брат-биолог умер раньше). Смотрю: действительно так. Орбели я тоже никогда не видел, слышал о нём от родителей, его в отличие от Панкратовой знавших не близко; в предыдущие дни они его точно не вспоминали. Опять: почему я угадал?

Когда я был взрослым, я не помню в своей жизни ничего подобного. Но нечто случилось в другой области, к счастью, не связанной со смертью (об этом я пишу в очерке о жене). Я уже был тогда кандидатом наук, но ещё не был женат. Однажды мне рассказывали, как живёт девушка, которую я знал в её и моём довольно раннем детстве без особого тогда к ней интереса, а потом не видел четырнадцать лет и совсем о ней не вспоминал. И тут вдруг опять неизвестно откуда пришло в голову: «Вот мне и жена». Через три с половиной года я на ней действительно женился. Опять не знаю объяснений.

Для заметок

Алпатов Владимир Михайлович

ЖИЗНЬ ЛИНГВИСТА

Воспоминания

Чебоксары, 2023 г.

Компьютерная верстка *М. В. Щербакова*

Дизайн обложки *Н. В. Фирсова*

Подписано в печать 20.03.2023 г.

Дата выхода издания в свет 23.03.2023 г.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 12,555. Заказ К-1111. Тираж 500 экз.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12

+7 (8352) 655-731

info@phsreda.com

<https://phsreda.com>

Отпечатано в Студии печати «Максимум»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75

+7 (8352) 655-047

info@maksimum21.ru

www.maksimum21.ru